

НИКОЛАЙ ГАЙДУК

ВОЛХИТКА



Николай Викторович Гайдук

Волхитка

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20526211

Волхитка: Animedia;

ISBN 5-7479-0610-0

Аннотация

Роман представляет собой непростую по форме, но увлекательную по содержанию, на много голосов звучащую историю «земли обетованной», рассказанную самим народом. Роман впечатляет живописным размахом и необычным построением сюжета. Волхиткой называется колдунья, превратившаяся в волчицу. Два главных полюса романа – противоборство души-царицы и души-волчицы. Здесь причудливо переплетаются и весёлая сказка далёких времён, и сегодняшняя жёсткая действительность, и то, что Ф.М. Достоевский называл фантастическим реализмом. Роман заставляет задуматься о сохранении Земли, о чистоте души, об ответственности человека за всё живое. Обращает на себя внимание язык романа – самобытный, яркий, корнями уходящий к русскому фольклору.

Содержание

Вместо пролога	5
Предисловие	12
Часть первая	14
Глава первая. Запев	14
Глава вторая. Мастера великие	22
Глава третья. Чистяки и чистяковы. В гостях у бакенщика	39
Глава четвёртая. Змей-сухovej. Случай, о котором и старожилы не помнят	59
Глава пятая. Восклицание о беловодских ярмарках. Застольная песня	71
Глава шестая. Где ты, пропажа моя?	81
Святочные игры	
Глава седьмая. Глубоко запечатанный клад. Фантазии на тему о сокровищах	104
Глава восьмая. Гроза на галерах. Мемуары матроса	139
Глава девятая. Ключ-трава. Наговоры ночных косарей	164
Глава десятая. Пешком по небу. Дорожные побаски	188
Конец ознакомительного фрагмента.	223

Николай Гайдук

Волхитка

© Красноярское книжное издательство, 1994

* * *

«Прочитал роман «Волхитка» лет пятнадцать тому назад и поразился широте воображения автора, глубине историй и смыслов этого произведения. Читая роман, проносишься сквозь столетия жизней простых людей, их судьбы и вместе с героями романа тонешь в судьбе нашей Родины. «Волхитка» – добрая сказка, метафорично создает непредсказуемые образы, к котором сложно остаться равнодушным, и благодаря которым меняешься, преображаешься и более осознанно смотришь на наше прошлое, настоящее и будущее...»

Андрей Катаев

Вместо пролога

Это случилось летом, в разъярённый полдень, когда понад землею кипели миражи и в небольшом предгорном посёлке Алтын-Кёль районная редакция тихохонько дурела и едва на стенки не лезла от жары.

В коридоре появился благообразный старец в белой, на все пуговицы «задраенной» косоворотке, чёрных сатиновых брюках и почему-то в пимах, на которые даже смотреть было муторно – этакий зной.

Почёсывая бороду, ходок вежливо узнал у квёлой машинистки, где тут «самый главный заседает», осторожно протиснулся в душный, ядовитым куревом пропахший кабинет и водрузил на полировку такую бумажную глыбу – у стола чуть ножки не сломались.

«Графоман! – ужаснулся близорукий редактор и, на несколько секунд похолодев, увидел над бумажной глыбой странное облако – женщину в белоснежном длинном сарафане, каких теперь не носят, с большими, грустью умудрёнными глазами поднебесной чистоты, какие тоже на Руси давно уже «не носят» по причине нашей замутненной жизни. Редактор снял очки, и облако пропало. – Графоман! Сейчас будет меня за горло брать!»

Однако посетитель сделал шаг назад и с достоинством кивнул на рукопись.

– Это вам. Велели передать.

«Кто? – промелькнула мысль, но тут же: – Какая разница? Спросишь, так начнётся болтология...»

Слаб человек, а потому и грешен. У редактора мозги уже взопрели от жары и от различных с утра на него навалившихся дел. Неискренне улыбаясь, виляя глазами, он поспешил отбояться от незнакомого гостя:

– Спасибо, что принесли. Мы это, конечно, прочитаем.

– Дай бог вам здоровья.

Старец поклонился, ушёл и никто его больше в посёлке не видел, будто вовсе и не человек являлся, а наваждение какое-то, рожденное миражом.

Чередом прокатились лето, осень, зима...

Редакторы в провинциальном посёлке не задерживались подолгу. И не мудрено: местечко дикое, и при удобном случае всякий смыться норовил – поближе к цивилизации. Вскоре уехал и тот близорукий, в повседневной суете ни разу не вспомнив о своём обещании, подтверждая мысль известную и грустную: мы ленивы и не любопытны.

Миновало очень много времени, прежде чем сыскался любопытствующий – энергичный молодой преемник, неизвестно который по счету – Андрей Серафимович Цыбинов.

Сдувая пыль и прогоняя мух с бумажных пожелтелых баррикад, очищая завалы, редактор обронил себе на ногу чей-то грандиозный опус гранитной тяжести – даже захромал.

«Интересно, что здесь? – удивился он, открывая папку. –

О!.. Почти берестяные грамоты! Ну и писанина, доложу я вам! Глаз можно вывернуть!»

Почерк – стремительный, с густой старинной вязью, непривычными «ятями». Кое-где встречались проруби, проделанные мышами на глубину всей рукописи; мелькали обширные заплатки машинописного блёклого текста.

Несколько дней подряд Андрей Серафимович самозабвенно пыхтел папиросами: читал, перечитывал. «Эх! – восклицал он мысленно. – Пригожая история, только точки не хватает в ней! Золотую точку бы! Но где же её взять? И где поставить?..» В эту минуту Цыбинов глаза поднял и вдруг заметил нечто необыкновенное: рукопись, развалом лежащая в углу, словно бы сияла в полутемном кабинете. На мгновение перед ним возникло странное облако – женщина с лицом иконописной Беловодской Богородицы. Одета в белоснежную мантию из горностаев или волчьей шкуры – на дворе звенел морозами январь – женщина раскрыла узкую ладонь и протянула что-то, полыхнувшее призрачным огнём. И в следующий миг редактор услышал горный голос в тишине:

– Спокойно! Мастер знает, где поставить золотую точку!

Видение исчезло, но обалдевший редактор долго сидел ещё в кресле, выронив окурок изо рта и привороженно глядя в одну точку, тлеющую золотом в прохладном сумраке. Затем где-то грохнули двери. Он вздрогнул, вышел в коридор, но всюду было пусто, тихо: рабочий день закончился давно. Вечер за окошками редакции вымарал бескрайние

снега, далеко над горами искрилось морозное звёздное крошево...

Переживая необыкновенное волнение, Цыбинов вернулся в кабинет, электричество включил и, нигде не отыскав ничего похожего на золотую точку, только нервно усмехнулся над собой и закурил по новой. И долго потом – от стола до двери – челноком сновал в табачных волнах.

Обмозговав кое-что, он сел за письмецо в далёкий город – стародавнему другу.

Уважаемый Гурий Иванович!

Зная Вашу многолетнюю и прочную привязанность к нашим русским сказкам, хочу показать Вам одну прелюбопытную штуку, но боюсь по почте посылать. Дорога дальняя. Заныкают куда-нибудь, а спросить потом будет не с кого; сами знаете сегодняшних «почтовых голубей». Не имею понятия, каким образом эта сказка очутилась в Алтын-Кёле, но сдаётся мне, что наши редакционные мыши не первый год уже её читают и рецензируют. А жалко, ей-богу! Человек старался, бумаги черт-те сколько перевел! Ну, это я шучу, Гурий Иванович. А сказать серьезно: приезжайте, как только дороги подживут немного по весне. Почитаєте – жалеть не придётся. Смею заверить: понравится! Где-то, может, посмеётесь, где-то и поплачете, не без этого. Ну и, может быть, пристроите в печать, а то ведь в нашей тощей газетёнке, сами знаете, и за сто лет не напечатать эдакую громаду.

Дружески Вас обнимаю, Гурий Иванович, и с нетерпением

жду. Вместе поищем золотую точку. Она где-то здесь. По секрету скажу: мне её передали, только Вы не подумайте, что я умом рехнулся в этой глуши – подробности при встрече. Горячий привет и поклон Вам от очаровательной Вашей свояченицы – Музы, она у нас в редакции одна из лучших, аккуратная бабёнка и старательная...

* * *

Гурий Иванович Горлов откликнулся сразу. Жизнерадостный, лёгкий на ногу, в Алтын-Кёль приехал он в конце весны. Где-то в пыльных подвалах, в архиве, находящемся под кабинетом редактора, нашёл запропастившуюся Золотую Точку, которая всё время двигалась, искала подходящее местечко для себя. Клятвенно пообещав пристроить её по уму, Горлов забрал себе сказку и с мальчишеским задором, характерным для одержимых людей, взялся за чтение, за перепечатку рукописи. Однако, вскоре «забуксовал» по той простой причине, что почерк в разных главах оказался разный: не одна рука писала и дописывала истории, полные и поднебесной фантазии и самой земной реальности. Местами почерк попадался крупный, чёткий, а местами – как маку насеяли: и с лупой ни бельмеса не разобрать. А кое-где и вовсе нет страниц, хоть плачь – на самом интересном обрывается (Очаровательная Муза постаралась, но это откроется позже).

Горлов рискнул на свой манер подправить сказку, подшаманить. И не везде, откровенно говоря, правка ему удалась, но перелопатил – ой, как много и, в общем-то, успешно, и поэтому очень горько осознавать: в позапрошлую весну, когда Гурия Ивановича Горлова не стало – многие бумаги бесследно пропали. Горлов был одинок, а в его квартиру заселились новые жильцы такой меркантильной закваски, какие ценят бумагу в одном только виде – в купюрах. А самое главное горе для сказки – пропала, как сквозь землю провалилась, Золотая Точка... Теперь я точно знаю, где её приладить; Гурий Иванович место показал. Да только где она теперь? Где взять? Я никогда таких точек не видел, хотя специально курганы всяких книжек переверорошил, там всё не то, не то... Ах, какую точку потеряли!.. Ну да что же теперь? Надо, значит, новую придумывать...

* * *

Много лет мы с Горловым состояли в тёплой переписке. Иногда я у него бывал – проездом. Помню, когда он впервые показал мне отпечатанные главы этой сказки – я от изумления чуть глаза не выронил. Нечто похожее – по широкому размаху, разноцветью – посчастливилось мне слышать в горах Алтая, где я шастал в юности с фартовыми, вольными искателями золота и приключений.

Однажды мы оказались в допотопном маленьком селении,

позднее потонувшем в пучине рукотворного моря.

Наш вертолет, спасаясь от неожиданной грозы, колёсами цепляя за вершины вековых деревьев, вынужден был сунуться в такое узкое ущелье, куда в другую пору ни за что бы не рискнули приземляться.

Люди, выглядывая из-за деревьев и скал, долго не могли приблизиться к нашей винтокрылой «стрекозе». Боялись, потому как впервые видели такое крылатое диво. Но потом, осмелев, подойдя, толковали с нами будто бы по-русски, а мы их с трудом понимали. До того самобытна, чиста и живительна была их старинная речь. Как вода в потаенном колодце – промывает и уши и души.

Но я отвлекся. Короче, так. Золотую точку, ребята, я нигде пока не отыскал, но, тем не менее, собрав, что уцелело в бумагах покойного Горлова, на свой страх и риск сочинив недостающие места и пристегнув предисловие, я хочу представить на ваш суд причудливую сказку. И тем самым хочу поклониться Гурию Ивановичу и другим русским людям, радевшим и радеющим за наше искрометное словцо, заметно потускневшее в последние годы.

Я в этом деле не специалист, так что извините, если что не так...

С уважением и поклоном В.С. Юрохин

Предисловие

Волхиткою когда-то в Сибири называли колдунью, превратившуюся якобы в волчицу. Каждый волен верить в это или нет, дело хозяйское. Только давайте всё же не будем делать вид, что всегда у нас человек человеку «друг, товарищ и брат». Увы, порой на ум приходит и нечто другое. Номо homini lupus est. Человек человеку волк.

Это, во-первых. А во-вторых, сказка проживает на некой Беловодской стороне, какую наш народ искал и находил в минувшие века, – на Алтае, в северных землях Поморья, в Индии и в других местах, отмеченных небесной благодатью.

В сказке нет конкретной географии, и аналогий тут искать не надо, поскольку речь сегодня приходится вести не с позиции квасного патриота, славословящего свой любимый уголок.

Разговор и печаль – о Земле. Нам была дана планета воистину похожая на сказку. Всякий край по-своему представлялся Беловодским краем, полным прекрасных чудес. Но, как говорится, дай Бог много, а захочется и побольше. В непомерной гордыне человек возомнил себя творцом земного рая. И с песней на устах – «мы наш, мы новый мир построим!» – вмешался в Жизнь и варварски нарушил вековую гармонию первозданной природы и первозданной души.

И вот результат.

Была душа – царица.

Теперь душа – волчица.

Нет, нет, конечно, не у всех и не всегда. Но, в общем-то, – мало весёлого, если быть откровенным.

И душевное здоровье человека до полусмерти надорвано, и здоровье Планеты настолько плачевное, что помочь ей, кажется, могло бы единственное, но невозможное: если бы все мы покинули Землю на время и дали бы ей, терпливой и многострадальной голубушке, матушке нашей, хоть мало-мальски роздых в желанной тишине под ясным небом.

Часть первая

Глава первая. Запев

*Тронул ветер гусли-самогуды
И запели гусли, как смогли...*

Пастораль путешественника

1

Жил да был в те поры неуёмный гулевой народ, хранил и нянчил в сердце милую надежду и мечту о лучшей доле, безудержными волнами ходил по свету, выискивая беловодский берег, ярко представляющийся каждому на свой аршин, а в общем-то – обетованной райской вольницей, где зимой и летом кипенью кипят молочные реки.

Веками длились поиски, да без толку.

Но однажды в сутеми весенних облаков, раздёрнутых ветрами, высверкнула серебристо-синяя вершина горы Белуши, косым плечом надёжно подпирающей поднебесье. Словно приветливый огонь воспламенился в окошке бога. Завораживал путников, манил, широко высветляя округу и вселяя

в сердца удивительно свежие силы.

Смелчаки приободрились. Вот так-так! Свершилось! Наконец-то! Жизнь обещала сказку – и не обманула!

Бодая буреломы, когтистый чапыжник, оставляя ключьями одежду на камнях и сучьях, – смелчаки продрались в тёплое уютное ущелье. Осмотрелись.

Мощная река летела с гор – и невозможно было не назвать её Летунь-рекою. Необузданная жаркая вода шумела, шабуршала в берегах – белее белого. На перекатах и в глубоких омутах белорыбица ходила тугими косяками, бурлил таймень – жирнее поросёнка. Ручные соловьи на ветках, горлица, глухарь, жар-птица, Гамаюн и птица Сирин, и птица Феникс – звенели искрометно и самозабвенно. Подходи, бери – не испугаются. И песню не прервут в твоих ладонях.

В берега упёрся неохватный кондовый кедр – таёжный царь! – угнал вершину выше облаков и нацепил на макушку ослепительную корону, роскошно расшитую золоченой солнечною ниткой... Пёстрым хороводом цветы со всех сторон сбегались на поляны; от жары подплавлились янтарным медком, делая воздух таким запашистым, вкусным и тягучим – хоть на хлеб намазывай. Дикие пчелы хмелели, купаясь в медовом соку, и никого не жалили. Зла еще не ведал этот край – жалко у пчёлки не выросло.

Огляделся человек – улыбка до ушей. От добра добра не ищут. Лепота. И треснул шапкой оземь человек. Эх, разлюли-малина! Остаюсь!

Перекрестился – да и за работу.

И взошли под звонким задорным топором первые осанистые избы на пологом чернозёмном берегу Летунь-реки. Охотно и легко земля под плугом расстегнулась – приняла отборное зерно... Изумительная земля была, рассказывают. Вечером посох странники воткнули в берег – утром уже зеленеет и цветок на нём закрасовался; христов посошок называется...

2

Сколько лет прошло с тех пор? Никто не знает.

Брожу по тихим улицам деревни. Смотрю. Любуюсь. Душа и сердце теплятся нежностью, ласковым светом. Сколько я проехал и сколько я прошёл по Земному Шару, но нигде почему-то я не чувствовал себя так, как чувствую здесь. Такое ощущение, как будто я сто лет мотался по земле, странствовал по жарким и холодным странам, по заморским континентам и только здесь охватило меня, обласкало пронзительное чувство Родины.

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

И теперь ещё дома в «неперспективных» беловодских селениях довольно бодро выглядят. Тесовые коньки на крышах «бьют копытом». Хорошо сохранились причелины, потемневшие и надтреснутые полотенца, окна, калитки... Всё радует, зовёт к себе! То ажурное солнышко встретишь, такое, что впору зажмурить глаза, то птаху: вот-вот запоёт и взлетит к поднебесью. То причудливый цветок с медовой капелькой смолья на лепестке...

Сколько бы лет ни прошло, а люди здесь всё так же занимаются нехитрыми житейскими делами. Ворочают пашню, охотятся, любят, рожают детей. А приспееет время – отправляются в последний путь за тихую, крестами осененную окolicу.

Небо за деревней оттеснено горами, чернолесьем. В далёкой дымке – ледник мерцает. День за днём солнце точит его и подсасывает. В той стороне рождается волшебная вода: любую рану быстро заживляет, а слепому человеку может и глаза «промыть»; бывали и такие чудеса.

Летунь-река летит с вершин, водопадами рвётся там и тут и, седея от страха, летит кувырком по оглохлой теснине, дуром ревёт и хохочет на все тридцать три своих каменных зуба и, думаешь, сейчас свернёт себе башку...

Но нет, ничуть!

У Седых Порогов – деревня так зовётся – шумная расхристанная кипень с ходу натывается на грандиозную заставу. Вода воронками высверливает стрежень, едва не доста-

вая свёрлами до дна, горбатится и прыгает на мшистых валунах за поворотом, норовя столкнуть их с дороги. Вода теряет силу, гасит бешеную скорость и смиренно затихает посреди глубокого природного ковша. Ласковой голубкой воркует где-то в скрыни, за которой и сегодня ещё можно обнаружить водяную старенькую мельницу.

А неподалеку на пригорке приютилась кузница. Ещё стучит в ней сердце и немножко теплится душа...

В ясный вечер, подкованный тёплым оранжевым месяцем, вечер, пахнувший потом коней, и росой, и полынями, — хорошо посидеть на завалинке среди седобородых местных жителей.

Увы! Доживают самые древние ветви беловодских фамилий. Чистяковы, Боголюбины, Звонаревы, Стреляные, Кикиморовы. Люди древние здесь до того, что, кажется, иные из них могут даже припомнить и Ермака Тимофеича с друзьями, грудью ломившими дикое сибирское царство.

Плохих людей на свете не бывает. Просто мало кто из нас прожил свою судьбу. Многие обмануты в самом начале дороги: не бог, но черт спугнул над нами ангела-хранителя и сбил с пути, но не испортил сути человеческого сердца. Вот почему я с любовью и грустью гляжу на сельчан, в чьем кругу сегодня нахожусь, чьи сказки буду слушать до утра.

Любят старики поговорить. Хлебом не корми, а только дай молодость весёлую свою пересказать. Где и подзагнут они, конечно, не без этого. Но уж тут известно, что ответят.

Не нравится, не слушай, а врать не мешай.

Не мешаю, радуюсь фантазиям и разноцветным, искромётным выдумкам людей. Теперь так редко сердце полнится подобной радостью. Вот и захотелось мне – в дорожной тетрадке своей – нарисовать пастораль. Хотя и понимаю, да, прекрасно понимаю... Пастораль в конце XX столетия – это, знаете ли, как-то не того... не серьёзно. И в то же время я осознаю, какое это чудо из чудес! Кругом разор, неверие, тоска, а здесь такие радужные краски и такие радостные звуки...

Слушаю, смотрю и улыбаюсь, думая: «Спасибо тебе, Господи! Сколько ещё силы, сердечного тепла и чистоты хранится в недрах нашего народа!»

И пускай рассвет меня застанет где-нибудь за дальним перевалом, и тысячи других рассветов на чужбине зацветут и завянут закатными зорями – никогда и нигде не забыть мне уже эти лица, характеры, песни, природу, всё то, что было, есть и вечно будет душой народа, какую в нём взлелеяла матушка-земля. И жалко мне сейчас только одно.

Лето в разгаре, дела у людей.

– Не сердчай, соколик! – Разводя руками, они вздыхают. – Не обессудь, но маленько не вовремя ты оглобли сюда завернул. Летний день год кормит. Языками некогда молоть.

– Понимаю, понимаю...

– Вот и хорошо. А ежели ты понятливый такой, дак ты бы лучше зимой сюда пожаловал...

– Нет, – говорю с улыбкой, – не стану понапрасну обнадеживать. Русь велика, дорог не сосчитать. А мы давайте сделаем вот так. По первоснежью сюда приедет мой помощник, симпатичный парень. Я напишу ему насчёт Седых Порогов, и то, что мне дослушать не удастся, он дослушает. И может быть, даже золотую точкушку найдёт.

– А чем чёрт не шутит, когда ангел спит! – сказали мне, посмеиваясь. – У нас тут, на болоте, кочек этих – не пересчитать. Что говоришь? Ни кочка, а точка нужна? Да мы любую кочку в точку превратим. Тут мастера такие, что ого-го...

Послушал я маленько, два-три вечера, покуда здесь хлестали тёплые июньские дожди – народ никуда не спешил, сидел по домам. А потом распогодилось. Мужики пошли на травокосы в пойме реки. В тайгу на охоту отправились. И мне пришло время запрягать.

3

Ой, как много я тут недослушал, много-много. Даже обидно. И расставался я и уезжал с великой неохотой. Удивительно: почти всю планету пришлось обогнуть мне: где пешком, где тряся в тарантасах, в поездах, сплавлился пароходами, плотами... Бог ты мой! Каких только пристанищ не было в пути – убогих, сырых и по-царски щедрых. Но только нынче я вдруг почувствовал себя под этим небом как под крышей родимого дома.

Много чего ещё хотел бы записать, да только я ведь это царапаю в дороге. Ох, трясёт, да так трясё... трясётся, как будто еду на квадратном колесе, — аж буквы из тетрадки вылетают на обочину. Так что если где недосчитаетесь моей каракульки, то не спешите корить пилигрима. Вы лучше вспомните наши разбитные, наши развесёлые дороги на Руси!

Глава вторая. Мастера великие

*Лето мастеруем, зиму дома сидим на печи,
балясы точим и продаём...
весёлая выдумка старого плотника*

1

Сколько лет прошло, а всё перед глазами та картина: кругом зима, она там королева – деревья перед ней склоняются в поясных поклонах, гнутые студёным серебром. И в седловинах гор тяжелые снега засели грузно, прочно – до весны. На берегу стоит просторный дом в белоснежной огромной папaxe, надетой на лихой манер. Неподалеку церковь, белёная спокойным лунным светом, льющимcя откуда-то из-за реки. Самой луны не видно и поэтому возникает странное такое ощущение, как будто церковь эта сама собой сияет изнутри, озаряя мирную округу и настраивая душу на прекрасный лад.

Много, много времени прошло, а всё перед глазами та картина: мастерская плотника, пропахшая смолистыми кудряшкам сосны, берёзы, кедра. На верстаках, на стенках и на полу сверкают гвоздодёры, клещи, долото; стальным оскалом скалится топор; ножовка по дереву и по металлу; на-

пильники, надфили – всего не перечесать...

Старый плотник что-то мастерит, фугуя стружки на пол, на подоконник, а то и просто в бороду себе. Иногда берёт он легонький топорик и начинает «ногти подстригать» – острое лезвие пляшет так близко от пальцев, что без крови, кажется, не обойтись.

– Не боитесь? – говорю я старику. – Так ведь можно и того...

– Спокойно, Федя! – Старый мастер отложил топор и широко, с оттяжкой шуганул рубанком, словно соловья спугнул с деревянной рамы – стружка со свистом слетела на пол. – Спокойно! – Он улыбнулся в бороду. – Мастер знает, где поставить золотую точку. Посмотрел бы ты, как прашур мой работал. Рассказать? Ну, сейчас покурим да и расскажу...

Мы прошли по хрустящим кудряшкам, источающим дух заповедного леса. В углу мастерской – возле окошка – два деревянных самодельных стула, один из которых напоминает царский трон; резьба на нём с какими-то лихими завитушками, с фантастическими финтифлюшками.

Седовласый мастер, побряхтывая, угнездился на этом троне. Закурил.

– И Христос был плотником, да не всякий плотник работает как Бог! – заговорил он, глазами улетая за окно. – Эх! Были, мой друг, мастера на Руси! Да такие ловкие ребята – залюбуешься! И за примером далеко ходить не надо. Мой прапрадед был из таковых. Работал – не хуже Бога! Об нём

тебе сказать, так не поверишь, а я всё же скажу, коль интересно будет. Только ты не ерзай и не перебивай за ради бога! Страх не люблю, когда перебивают – ни конца потом не сыщешь, ни начала. Понял, да? Ну, поехали, значит.

На Седых Порогах слыл одним из лучших мастеров некий парень Емельян Прокопович, которого не по годам, а лишь из уважения к таланту все прозывали по имени-отчеству.

Емельян Прокопович поставил первую церкву на нашем бугре. Вон, гляди, друг мой, – не наглядишься. Это тебе не городские ваши небоскрады... Или как вы их зовёте? Небоскрёбы? Ну да всё равно. Скребут, скребут по небу. Только чертям на радость ваши камни. А это – дерево. В нём есть душа. Его обидишь, так оно смолою плачет.

Церкву эту на бугре Емельян Прокопович не сам, конечно, ставил, а цельная артель. Но артель атаманом красна – это факт!

Сызмальства Емельян Прокопович работал, говорят, каким-то причудливым серебряным топориком, который мог светиться своим широким острым лезом... Что? Не знаешь «лезо»? Да это ж – лезвие. Так вот. Серебряный топорик Емельян Прокопыча острым лезом отчего-то светился впотьмах, как молодой полумесяц. Да он, может, и правда сделан был из куса полумесяца. Вот говорят же в народе, что, мол, старый месяц бог на звёзды крошит. Похоже на правду? Похоже. Но старых месяцев уж много накопилось под небесами у нашего Господа Бога, вот он блестящую кра-

юху отломил однажды и подарил человеку – мастеру Емельяну Прокоповичу. А зачем? В том есть резон. Ежли кто-нибудь чужой позарится, захочет, умыкнет у мастера волшебный инструмент, – а такое было не однажды – Емельян Прокопович всегда найдёт топорик тот, хоть в землю ты его зарой, хоть брось в колодец.

Но как бы ни был инструмент хорош – это всего лишь приписка, мой друг. А сказка начинается тогда, когда струмент попадет не в лапы каким-нибудь дуболомам или гроботёсам, а в мудрую ладонь мастерового, умытую потом.

Емельян Прокопович – легенда наша. Всё так легко, играючи всё делал! И работник славный был, и пошутить умел с размахом. Со всего плеча!.. Возьмет, бывало, спичку... Да что там спичку, друг мой, бери потоньше! Волосок, ну да, конечно... Помню, как сейчас. Волосок для смеху вырвет из кудрявой забубённой своей головы, на бревно положит... Что? Да нет, не голову! Экий ты шустрый! Голова-то у него одна, а волосьев – не перечесть. Ага-а... Ну, ты слушай, не перебивай. Волосок положит на бревно, размахнётся да со всего плеча топориком хлопбысь – и повдоль разлепит пополам! Вот провалиться мне на этом самом месте, ежли я тебе сейчас соврал! Мужики спервоначалу – вот как ты теперь – ни в какую не верили. Мужики специально в городе купили стеклышко такое – уличительное. Уличить хотели. Что? Увеличительное? Да это я знаю, потому как ни раз, ни два туда глядел. Голым глазом не волосок-то вовсе не видать, а в это

стёклышко и слепой узрит волосок, разрублённый повдоль.

Глаз был очень верный. Сокол, а не глаз! Размахнётся, бывало... ну, думаешь, хряпнет сейчас – полдеревни под корень снесет! А он поглядит на тебя, подмигнет синеглазенько и ухмыльнется в бороду: «Спокойно! Мастер знает, где поставить золотую точку!» Это он так любил приговаривать, когда был в хорошем настроении.

Вся наша беловодская округа и все артельщики, конечно, гордились таким редким атаманом, ценили высоко, и на руках готовы были таскать его из дому на работу и обратно.

Ох, сколько бы ещё он здесь понастроил, тот мастер, если бы не перешёл ему дорогу преподобный Кикимор Кикиморович. Не слышал про такого? Ну да где ж тебе слышать. Я про него придумал сам одну историю. И никому пока ещё не рассказывал. Ни разу. Так что, друг мой, ухо растопырь, а уж я тебе туда жемчугов насыплю – не пожалею...

2

Росло на беловодской стороне большое Древо Жизни. До того большое, говорят, что в дупле у него иногда месяц ночевать останавливался – в дождливый вечер либо в пургу.

На баснословном нашем Древе Жизни яблоки волшебные висели – и зимой и летом. Может, не поверишь, но скажу. Вкуснее, чем те яблоки, ничего на свете нету, друг мой. А поскольку жизнь одна, то и яблоко одно человеку достава-

лось с того дерева. Родился ребятёнок, например. Папа с мамой подошли, сорвали с ветки – подарили сыну или дочке...

Все по совести жили тогда и Древо никто не караулил – люди лишнего не возьмут.

Но появился откуда-то в наших краях неказистый мужичонка по прозвищу Кикимор Кикиморович или Кикимордович. Шибко страшную морду лица он имел. От него даже кони шарахались, да. И стал он приворовывать яблоки с нашего Древа. И не просто так, не с голодухи, нет. Нечистой силе яблоки стал он продавать. Во, до чего дотумкался.

Долго поверить не могли, что такой бессовестный архаровец завёлся про между честных людей. Но однажды утром видят... Свят, свят, свят! Не чудится ли это? Кикимор тот залез на Древо Жизни и рубит здоровенную, яблоками обвешанную, ветку. Ту самую ветку, на которой сидит!..

Видели мы всяких остолопов на нашей беловодской стороне, но чтоб такого – нет!

Поймали стервеца. А что с ним делать? Хотели прогнать с Беловодья, но мужичонка раскаялся, только что землю не грыз. Чёрт попутал, говорит, больше не буду. Примите в артель вашу – плотником. Строить хочу божьи храмы, чтобы, дескать, радовать людей. Знал ить, паразит, что говорить, как подмаслить душе христианской.

Ну, приняли, ага. На свою головушку. Поначалу-то вроде как и ничего. Кикимор семью свою на Седые Пороги из-за дальнего перевала привёз. Жил да работал честно вроде бы,

но яблоки с тех пор нет-нет да и пропадали с Древа Жизни. Грешили на хитрого плотника, но ведь не пойман – не вор. Но яблоко – яблоками. А то ещё другое горе приключилось.

Вскоре этот Кикимор проникся к Емельяну Прокоповичу скрытой ненавистью. Сам – чурка с глазами и руки из заднего места растут, вот и завидовал всякому, кто попроворней его. Глядя на ловкого мастера, Кикимордович втайне тоже спички топором колоть пытался. Зачем это ему сдалось? А не знаю. Мечтал, видно, прославиться. Нос утереть молодому Емельке хотел.

Ну, вот однажды и домечтался бедолага. Со всего размаху, да ещё с похмелья однажды поутру пустил топорик мимо спички: брызнула чёрная – чертячья, говорят – кровушка из-под лезвия, и разлетелись пальцы по земле...

Ребятишки с той поры дразнили его не иначе как культиная Кикиморда, но издалека дразнили. Из-за угла, из-под забора, потому что боялись ему на глаза попадаться. Нехороший глаз был, можно сказать, поганый – недуг в человека посылал. Может, не поверишь, но скажу. Вот если он злой, тот Кикимор, и вгорячах посмотрит на цветок – тут же, на корню, завянет бедный цветик, словно подрезанный, ага.

Ну и вот. Стал Кикимордович калекой, бросил, значит, ремесло и в сторожа напросился. Древо Жизни стеречь. Представляешь?... А русский человек, он сердобольный: пригreet сирого, калеку пожалеет. Ну, вот и этого приняли в сторожа. На хлеб-то надо как-то зарабатывать.

И с тех пор ещё сильнее стал Кикимор сердце держать на атамана. Будто Емельян Прокопович рубанул ему по этой волосатой лапе.

Погоди, каналья, думал бывший плотник, аховский работник. Ты ещё попляшешь под мою дуду. И топорик свой серебряный отдашь, и в ножки мне кланяться будешь.

И то сказать! Не зря злодей так размышлял, была для этого прекрасная причина – дочка семнадцати лет. Скажи на милость, друг мой, как могло случиться этакое диво на земле. Папа – страшнее чертушки, мама тоже – извини, подвинься – лишний раз никто не глянет на неё. А ребяенок у них родился, как ягодка. Это про ихнюю дочку, наверно, придумано: не в мать, не в отца, а в проезжего молодца... Ей-богу, дело здесь не обошлось без какого-то проезжего красавца. Может быть, и так. Да только и другое люди говорили. Будто она им приходилась не дочкой вовсе – падчерицей. Ну, это я не знаю, врать не стану.

Звали деваху – Злата. Семнадцать лет – известная пора. И звёзды ярче светят, и соловьи над ухом не смолкают, и не то, что цветы по весне, а и камни цветут в эту пору. Сказать короче, Злата с Емельяном Прокоповичем однажды встретились и прикипели друг к другу, да так, что и смерть показала бы им слаще, чем разлука. Вот ведь как бывает. Любовь, она такая...

Поначалу тайные у них свиданки были, ну а потом...

Шила в мешке не утаишь. Кикимор Кикимордович вскоре

узнал про эти сердечные дела. И поставил перед мастером условие.

Вот такой, примерно, разговор у них произошёл.

– Девка созрела. Чую, свадьбой пахнет промеж вас?

– Да, – сознался Емельян Прокопович. – Я хотел к вам засылать сватов.

Бывший плотник свою культю внимательно разглядывал, будто новые пальцы на ней отросли. Молчанием томил гордого мастера. Затем прихлопнул крепким обрубком по столешнице.

– Ладно, паренёк, – нарочно так сказал, чтобы как можно унижительней звучало. – Дочку Злату я тебе отдам.

Мастер знает, где поставить золотую дочку! – ерничал он, усмехаясь прямо в глаза Емельяну, зная, что сегодня тот в полной власти его. – Мастер знает! Мы ведь тоже не лаптями щи хлебаем. Отдаю кровинушку... – Он сделал вид, что слёзы вытирает. – Можно сказать, от сердца отрываю. Но и ты, паренёк, постарайся теперь для меня. Уважь, любезный!

Емельян развел огромными жилистыми руками – ветер взвился над столом, занавеску на окошке качал.

– Уважу, – заверил, – об чём разговор?

Культистый харю свою плутовскую повёл набекрень и зашурил тёмные глаза.

– Не омманешь?

Мастер уколол его сердитым взглядом, как сухой бояркиной иглой. И сердитое слово, готовое сорваться с языка, по-

спешил запереть скрипучими зубами. Сдержался, лишь подумал: с дураками и разговор всегда дурацкий получается.

– Не обману, истинный Бог!

– Слово?

– Слово. Что прикажешь, то и сделаю. Если это, конечно, будет в моих силах и в совести моей. – Он заглянул в кикиморинные зрачки. – Что? Не иначе, как топорик мой серебряный?

– Само собою. Но не это главное. Ты, паренёк, давай-ка сделай вид, что тебя ищут!

– В каком смысле? Что-то я не понял...

– Скройся с глаз на все четыре стороны! – приказал лиходея.

– Ах, вот оно что! И надолго?

– А навсегда!

Емельян Прокопович задумался на минуту. Густые брови заломил у переносицы.

– А ловко ты поймал меня на слове! Мне Седых Порогов дороже нет на свете. Мне Господь Бог отломил кусок месяца здесь, на этом перевале, чтобы я сработал себе светоносный топорик и построил им Святую Русь!.. И я построю! Вот увидишь!

– Значит, не согласен?

Мастер побледнел. Жалко, больно было Злату потерять.

– Эх, Кикимор! Ладно! Твоя взяла! Согласен! А зачем, позволь спросить, мне скрываться с глаз долой?

– А это не твое собачье дело, паренёк. Много будешь знать – скоро состаришься. Ступай.

Емельян Прокопович опять зубами скрипнул, сдерживая гневное словцо. На прощанье слегка поклонился. К порогу двинул – половицы гнулись под ногой. Задержался у двери и вслух подумал:

– Из одного дерева икона и лопата. И человека лепят из одного и того же теста... Почему же ты такой, Кикимор? А я тебе скажу. Зависть! Зависть тебя гложет до костей. И только потому, чтобы меня прогнать, – Злату отдаёшь без сожаления. Ну, ладно, плотник. И на том спасибо. Свидимся как-нибудь, мир тесен.

– Нет, паренек. Прощай! Чтобы и духу твоего здесь не было!

Емельян Прокопович на церкву глянул, на избу, на мельницу: всё любовно слажено его руками.

– Ну, дух-то мой останется, шалишь! – Он улыбнулся через силу. – Бывай здоров, счастливо!

– Да уж как-нибудь... сами с усами. Проживём, даст бог, не пропадем... с серебряным топориком!

– Пропадёшь. От зависти. Не один уже на этом сковырнулся, так и знай!

Бывший плотник рассердился на эти правдивые смелые речи. Глаза свинцом налил и готов был тяпнуть серебряным топориком по шее мастера: Емельян Прокопович, выполняя уговор, сразу же отдал ему инструмент, с которым, кажется,

ни днём, ни ночью не расставался.

Но трусоват был Кикимор. Только повертел в руках топорик, а затем небрежно зашвырнул за печку, будто не сказочной штукаю завладел, а простым берёзовым поленом.

Мастер понял его, усмехнулся. Здоровенный был парняга – и бревном не зашибить; с таким не скоро справятся и десять мужиков, а что уж говорить про этого культяпку.

Примерно так они поговорили и распрощались.

А на другое утро, ещё до солнышка, Емельян Прокопович покинул свои милые края. Злату-лебёдушку усадил в широкий шитик – самодельную лодку. Затем киянки, свёрла и весь прочий инструмент в охапку сгреб и уложил на днище лодки. Перекрестился на родимую церковку, земной поклон отвесил Седым Порогам и, чтобы сердце попусту не травить долгим прощанием, – быстро отчалил от берега.

Денек был сумрачный. Будто не утренний час подоспел, а вечерний.

Окаянный Кикимор Кикиморович воспользовался тем сумраком. Специально, чтобы мастера позлить напоследок, поднялся до зорьки – серебряным топориком колот дрова под берегом у своего огорода.

Тихий серебряный свет долго ещё виден был с сумрачной реки – покуда лодка не исчезла за туманами...

Скучному рассказу нет конца, а весёлая повесть так скоро кончается, ну, прямо хоть плачь.

– А что же дальше было? – спросил я, огорченный такою внезапною остановкой.

Старик вздохнул, вставая со своего деревянного трона. Поцарапал бороду. Лукавыми глазёнками сверкнул. Руки его, не привыкшие бездельничать, взяли рубанок, но тут же вернули на место.

– Что дальше? – Он вздохнул. – Э-э, друг ты мой сердечный, таракан запечный! Язык, он хоть и без костей, а устаёт.

Я понимал, что упрасивать и уж тем более наседать на пожилого мастера – только хуже будет.

– Так, может быть, мы завтра с вами встретимся? Продолжим?

Не сказать, чтобы старик цену набивал себе, но... в общем, он замялся, за стамеску взялся, собираясь подчистить пазы в какой-то просторной раме.

– Да я не знаю, право слово, что там дальше приключилось. Ей-богу, не знаю.

По глазам было видно, что мастер не кочевряжится.

– Жалко, – огорчился я. – И что ж теперь делать?

Седобородый сказочник, будто не слыша меня, какое-то время вдохновенно работал стамеской, потом киянку взял –

ручка деревянная, а молоток резиновый. Постучал киянкой. Прищурился, нахмурился. И ещё немного постучал.

– Что говоришь? А! Жалко? – Вспомнил он, закуривая. – Иди-ка сюда. Посмотри.

Мы опять прошли по стружкам, сухо зашептавшим под ногами.

За окном были покатые брюхатые сугробы. Ветка рябины краснела – точно снегирь на морозе нахохлился.

– Смотрю, – сказал я. – И что дальше?

– Островок вот тот видишь? В белой папахе стоит. А там – правее – Каменный мыс. И вот на том мысу, на самом гранитном носу, там один хороший бакенщик живёт. Никола Зимний.

– Он что там, зимою живёт?

– Да зачем зимой? – Рассказчик усмехнулся на мою бестолковщину. – Они уже, однако, лет сто тридцать там из речки кормятся, Зимние эти. С водяными знают, ага. Со всякими русалками здороваются за руку.

– Неужели?

– Сурьезно говорю, сам видел. Мы с ним сидели как-то на берегу и вдруг подплывает одна... красивая рыбина, язь её так! «Эй, – кричит, – мужики, закурить не найдётся?» Ты представляешь, какие русалки пошли? Подплыла, стоит в воде по грудку, два поплавочка розовых качает на волнах – без лифчика, и дальше... нет на ней... В чем мама родила. А водичка-то у нас прозрачная... У меня, у дурня старого, аж

в зобу дыханье сперло: рот разинул и молчу. А Никола Зимний спокойно ей в ответ: «Плыви поближе. Тебя как звать?» «Маруся, – говорит. – А можно просто Руся звать или Русалка». Ну, Никола Зимний угостил её отменным табачком и сказал, чтоб в гости приплывала, как стемнеет. Мы, говорит, с тобой жемчужинку поищем... Никола, он такой...

Я удивился:

– Это какая такая жемчужина? Уж не та ли самая... Для всей этой истории с Волхиткой?

Старый плотник послушал меня и говорит:

– Видать, она, та самая, которая тебя интересует. Это как-то во хмелю Никола мне однажды проболтался, будто сыскал на дне реки жемчужину и смастерил из неё дорогую точечку.

– А где она сейчас? Не знаете?

– Говорит, что нету. Пропил, дескать.

– Да ну?

– И я не верю. Он, конечно, выпить не дурак, но голову, однако, не теряет. Никто и никогда её не находил.

– Кого?

– Голову. – Рассказчик тихонько засмеялся. – Я говорю, что голову Никола Зимний не теряет никогда. Не мог он пропить жемчужину. Для себя, наверно, берегает.

– А ему она зачем?

Помолчав, старик достал шершебель – так он зовёт шерхебель, «матерный» какой-то инструмент, похожий на рубанок.

– Зачем, говоришь? – Мастер ногтем попробовал закруглённое лезвие. – В хозяйстве пригодится. Иногда ведь как бывает? Дойдёшь до точки... А точки-то и нет! – Старик неожиданно подмигнул мне и засмеялся. – Да-а, такое дело... Так что, Федя, ты не ленись, по весне к нему сплавься, да сам спроси. А у меня работа, не взыщи. Она хоть и не волк, в лес, конечно, не уйдет, а всё равно ведь окромя меня работу эту никто не свалит с моих плеч. А эти балясы точить – мало толку. Не прокормишься ими, я пробовал. Желающих послушать много, а чтоб копейку кто-нибудь мастеру подал для вдохновения, так ведь ни капли не выжмешь из этого моря людского.

Уже собравшись уходить, я остановился – по щиколотку в стружке.

– А почему по весне? А сейчас нельзя к нему сходить? Зимой у бакенщика работы мало, насколько я знаю.

– Сейчас его на месте нету, – сообщил старый плотник. – Он ушёл куда-то за Ледоломкой.

– За кем?

– Ледоломка. Птаха есть такая. У нас тут раньше всякие пернатые водились. И птица попугай, и птица посмеши. Всё было, да сплыло. Кого постреляли, кто сам улетел. Ну, речь не об этом сейчас... У него, у бакенщика того, в хозяйстве была одна Ледоломка, но очурилась по старости годов. На пенсию ушла туда, откуда не возвращаются. Вот он теперь другую Ледоломку ищет. Пропадает где-то за перевалами.

– А зачем она ему?

– Ну, парень, ты даёшь! – Старый плотник покачал головой, словно бы осыпанной седыми редкими стружками. – Когда бы ты спросил, как называется вот этот матерный инструмент... – Он показал на шерхебель. – Не всякий знает, что это такое. А вот про Ледоломку у нас в деревне даже грудной младенец может рассказать.

– У вас даже грудные разговаривают?

– У нас даже немой поёт, – заверил старый мастер и снова подмигнул. – Я тут к одному подхожу на гулянке и спрашиваю: «А не мой ли ты сродственник?» Он посмотрел и отвечает: «Нет, не твой». Я говорю, ну ладно, не мой, так не мой, дальше пой. С тех пор его так и зовут – Немой певец.

Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

– Извините, но мы отвлеклись, – говорю я. – Так зачем же ему Ледоломка? Бакенщику тому.

– А как же? А кто же лёд весной начнёт ломать? Тебя вот не заставишь, однако, ледоломить, ты всё больше сказки любишь собирать. – Старый мастер выудил стружку из бороды. – И я не хочу, как корова на льду ходить там весной. Ни за какие деньги не хочу. А Ледоломка, она из века в век работает бесплатно. Клювом стукнет по реке – и пошло, поехало. Да ты сам увидишь. Приезжай весной, не пожалеешь.

Глава третья. Чистяки и чистяковы. В гостях у бакенщика

1

Избушка притулилась на высоком яру – открыта всем ветрам. На подходе к избежке – треугольная белая створа на трёх сучковатых ногах стоит среди молоденьких сосёнок, словно большой мольберт художника. В стороне, на полянке, грудой свалены старые красно-белые бакены, помятые, с облупленную краской – издалека похожи на детские игрушки. Своенравная Летунь-река наигралась этими цацками – сорвала с привязи, помяла на камнях перекатов. А перед самым крылечком бакенской – сети на кольях сушатся. К тёмной бревенчатой стене прислонён багор, солнечно сверкающий наконечником. Около завалинки – два здоровенных весла, похожие на потеси, которыми обычно пользуются плотогоны, съезжая на плотах с верховий диких, необузданных рек. И тут же – под низким тесовым навесом – рыба сушилась и вялилась: хариус, таймень, ленок и что-то там ещё, не разглядишь; рыба эта, как невеста, окутана вуалью – закрыта марлей, чтобы мухи пешком не гуляли по ней, добро не поганили.

Два городских человека, с любопытством рассматривая всё это, задержались на пороге, а потом негромко постучали в дверь.

– Можно к вам? Здравствуйте...

– Проходите, хвастайте! – здороваясь, улыбнулся редкозубый рослый бакенщик, сидевший у окна. – Вы, однако, новый рыбнадзор? Что, нет? Не угадал? А я жду, обещались приехать. Откуда ж, позвольте узнать, пожаловали ко мне такие высокие гости?

Городские люди смущённо потоптались у порога, скрипя подгнившей плахой. Один из них, шутя, ответил:

– Да почему высокие? По метр шестьдесят.

– Ну, как же, как же! Шляпа, галстук... У меня отродясь не гостило такого народу. – Бакенщик строгал какие-то штуковины: поплавки для сетей мастерил. Отложив поделку, он руки вытер о подол не заправленной тёмной рубахи. – Значит, из городу? Рыбки подёргать? Русалку за жабры пощекотать? Что, нет? Опять не угадал?

Снимая шляпу, тот, который помоложе, начал объяснять:

– Тут, понимаете, дело такое... Вы бы рассказали нам про товарища...

– погоди! – недовольно перебил второй, пожилой. – Про какого товарища? Что ты, в самом деле: «товарищ, гражданин!» – передразнил он весело.

Бакенщик растерянно поднялся. И руки почему-то вытянул по швам.

– Так вы... – Он поморгал. – Из милиции, что ли?

Пожилой приезжий рассмеялся, глядя на молодого.

– Видишь, как напугал человека! – Пожилой уселся около стола, открыл портфель и вытащил бутылку, мимоходом подмигнув приятелю: вот, мол, с чего разговор начинают. – Милицию мы сами обходим стороной, так что вы на этот счёт не переживайте. Мы сказки собираем на бывшей беловодской стороне. В прошлом году здесь был наш человек, он записал от плотника хорошую байку, а продолжение попросил узнать у вас... Вы – Никола Зимний? Правильно? Ну, вот... Вы, случайно, ничего не слышали про Чистякова Емельяна Прокоповича?

– Обижаете, ребята. Нешто я глухой, чтобы про такого человека не слышать... – Бакенщик заметно преобразился, носом повел, отмечая: «Ишь ты, какая сеструха-литруха! С винтом!» – Ну, как же, как же, – продолжал он, – кто же не знает про Чистякова, про его знаменитый серебробронзовый топор!

Бакенщик поднялся, широким жестом поправляя свою снегоподобную шевелюру и стараясь меньше суесться перед выпивкой. Никола потому, наверно, и зовется Зимним, что голова у него белая-пребелая, даже немного иссиня, будто снеговьём пушистым да кудрявым запорошило. И точно такие же брови – как будто снегу намело на козырьки. У них у всех такие волосы в роду, вот потому-то они и зовутся – Зимние.

Хозяин кой-какую закуску на столе сгоношил и чересчур серьезно поинтересовался, кивая на изящную винтовую пробку:

– Как её откручивать-то будем? Гаечный ключ в избу тащить? Или как? Инструкция-то есть?

Теперь все трое засмеялись и почувствовали непринужденность. В окошко било солнце, дробясь в ведре с водой на золотины и качаясь живым весёлым зайцем на потолке. Пустая клетка в углу стояла, старый спасательный круг, словно большой покусанный калач. Поплавки. Грузила. Чем-то древним, хорошим веет всегда в этих милых береговых и таёжных избушках, и чудится нашему сердцу, что только здесь вот и сохранилось ещё в человеке что-то светлое и настоящее, потерянное в сутолоке тучных городов и даже в сегодняшних весях.

Именно об этом и подумал пожилой приезжий.

– Ну вот, – сказал, вздыхая, – а мы ещё с тобою сомневались: ехать сюда или нет?

Со стола ухой запахло, сушёной и вяленой рыбой. Картошка кудряво задымилась в чугунке, вынутом из горячих закоулков печи. Весело разлили по стаканам, чокнулись за доброе знакомство... Сами гости только губы замочили – на работе, как-никак, а Никола Зимний с большим аппетитом и удовольствием засандалил первый стакан – самый желанный в любой пирушке.

– С утречка продрог, – сообщил он, поглаживая грудь. –

Перемёты проверял и в воду бухнулся... – Бакенщик сделал неопределенный жест руками.

– Ключула, что ли, такая? – не поняли его.

– Но! – усмехнулся Никола. – Коряга. Вот такой топляк! Это раньше были осетры по триста килограмм. Уж я не говорю вам про семьсот, все равно за брехуна сочтёте. А между тем ловили старики. Даже дед мой, к примеру, ловил. Он, кстати, мне и поведал в своё время про Чистякова, который нынче вас интересуется.

В красном углу стояла редкая икона.

– А кто это на ней изображен? – простодушно спросил молодой. – Вы серьезно в бога верите?

– Шутя... – Никола Зимний засмутился, белоснежную гриву поправил на просторном лбу, распаханном морщинами; эти городские иногда «не снимая сапога, лезут в душу мужика» с такими щекотливыми вопросами, что охота показать им, где здесь бог, а где порог. – Это Василий Мангазейский на иконе. Рыбакам помогает, охотникам. Я вот охотник до этого дела... в мангазею-то сбегать люблю за фунфыриком, вот потому-то у меня и икона эта и свечечка при ней. Ну, выпьем, что ли? А то прокиснет! – сказал Никола с легким вызовом.

Пожилой горожанин покашлял и надавил под столом на башмак молодого, украдкой подавая знак молчать, а то испортишь, дескать, всю обедню. Бакенщик заметил это и подумал с грустной улыбкой: «Ты на язык наступи ему лучше,

не на ногу!»

Маленько осерчав, Никола Зимний нарочно стал рассказывать совсем не то, что городским гостям хотелось бы услышать.

– Бакены поставить на реке – тоже наука. Почему, например, вот эти бакены конусообразные – этот белый, этот чёрный. А? Не знаете? Так я вам расскажу, вы запишите в своей «китрадке». Эти бакены ставятся с левого берега – чтобы мужик налево не ходил. – Никола Зимний вдруг расхохотался, довольный своей шуткой, неожиданной даже для самого себя. – Ну, а ежели сурьёзно, то... Для ограничения судового хода с левого берега. Записали? Хорошо. А вот там вот, гляньте-ка, торчит красный бакен цилиндрической формы. Это к чему?

– Для ограничения судового хода с правого берега, – догадался молодой.

– Соображаешь! – Бакенщик опять развеселился. – Достойная смена растёт!.. А полосатый бакен? А? Этот чёрт полосатый зачем на реке? Не знаете? Так я вам двойку сейчас поставлю в вашей «китрадке». Полосатый бакен – точка поворота судового хода.

– Да нам бы лучше это... про золотую точку, – намекнул пожилой, более тактичный и более терпеливый гость. – Может, мы ещё по капельке нацедим?

– Ну, ежели по капельке, то можно.

Никола Зимний тяпнул, забывая закусить. Помолчал,

дожидаясь, когда огненная влага доберётся до сердечных струн. Кожа на лице, на шее бакенщика, дублёная речными просторами, смотрится – будто из красной кирзы. Но после выпитого он как-то благородно побледнел; заволновался, понимая, что это его своеобразный звёздный час.

Скоро огненная влага накалила ему сердце, рассентименталила – влажные глаза глядели мягко, ласково. Раскраснелся бакенщик, разговорился, широко размахивая «потесями» – руки длинные, сильные – словно грёб на лодке супротив течения.

В избушке ему стало тесно, и бакенщик позвал гостей на бережок – показать родимую Летунь, молоком кипящую в каменных клещах излучины. Там сейчас Никола запалит костерок и, уносясь мечтательными взорами за реку, за синие горы, вдохновенно заликует сердцем и душой, затокует, затокует – не похуже глухаря на вешней зорьке, – только успевай записывать.

2

Ледоломка!.. Так на свой лирический манер на нашей беловодской стороне люди зовут обыкновенную синицу, хотя насчет «обыкновенной» – нет, не поверю. Только сказочная птица такие чудеса может творить. Раньше я думал: она, Ледоломка, прилетает весной из-за тёплого моря, где нету ни снега, ни горя, садится где-нибудь на красноталовом кусточ-

ке, в тихом уголочке, и затевает жаркую, искромётную песню, от которой ломается лёд. Или вот ещё какая мне картинка грезилась: примчится Ледоломка в этот край, крепким клювом тукнет-стукнет по реке, зародится трещинка в верховьях – и затрещит, запищит серебряный лёд, раскрываясь, до самого устья дойдет...

Однако, всё не так. Всё гораздо интересней, изумительней. Сказки живут не за морем, а тут, прямо под боком, за русской печкой, можно сказать.

Вот что мы увидели, и вот что мы узнали у бакенщика Зимнего Николы.

Есть у него ручная Ледоломка. Она живёт зимою в тёплой тесной горнице, хлебные крошки и зерна с ладони берёт. Молчит всё время, дремлет взаперти, лишь изредка глазочек приоткроет, покосится на тусклое морозное окошко.

И только стоит вешним ветеркам едва-едва пригреться где-то за соседнею горой и принести оттуда запах талой снежной корки – Ледоломку эту не узнать. Ледоломка словно бы становится жар-птицей: перо на ней горит, глаза сверкают. Ледоломка беспокойно мечется по клетке, по комнате порхает...

Бакенщик посмотрит на неё, в календарь для достоверности ещё разок заглянет. А в календаре уже – самое что ни на есть ледоломное времечко: апрель, кругом сплошная прель, капель.

И Никола Зимний тогда преображается – переодевается в

Николу Вешнего. Снимает с себя зимние, тяжёлые доспехи – мохнатую белую шубу, то ли из какого-то белоснежного зайца пошитую, то ли из белой волчицы; такие белые водились тут когда-то. Переодевшись в Николу Вешнего – в лёгкую цветистую рубаху и зеленотравные штаны – бородатый бакенщик открывает двери наростопашку и, перекрестившись на красное солнышко, восходящее над рекой, шепчет как молитву:

– Вылетай, родимая! Начинай! Пора!

И польётся песня над рекой... Да какая песня, бог ты мой! И слова и музыка – народные...

И вскипит, паром пыхнет Матушка-Летунь!.. Разломанное русло от натуги посинеет, вспучится... И начнет ледолом ликовать, богатырской силой пошевеливая остров, берега. Валуны оживут, с боку на бок ворочаясь на солнцепеке, тюленями плюхаясь в воду. Кедрач – дерево податливое, хрупкое – одним из первых слабо хрупнет на корню. Да что кедрач! Столетний железоподобный листвяк, и тот не выдержит – захрустит, растрясая ошлепки и, прослезившись смолою, тяжело вздохнёт вершинами, рушась в ледяную карусель...

Эгей! С дороги! Посторонись! И дерево, и зверь, и человек!..

И денно и ночью шумят и шарашатся шершавые загулявшие льдины!.. И никакой управы не найдешь на них – и не ищи!..

Вот тебе и птичка-невеличка, вот тебе и «обыкновенная»! Разбудила, расколола реку! Того и гляди – быть беде! На мелком перекате, на осерёдках или в тесных каменных «щеках» вдруг появляются огромные зажоры: алмазными горами громоздятся на много-много вёрст вверх по течению. Лёд звенит на все лады и перекликается тысячекратным эхом по ущелью! В ледяной пыли на солнце фонтанируют, сливаются друг с другом небольшие радуги... Разноцветный воздух катится клубками по-над рекой... Затопыраются выше, выше, выше!.. И скоро будут, видимо, цеплять за облака... Держись теперь охотничья прибрежная обитель, отбегай подальше изба на курьих ножках! Держись, деревенька! Трясись от резного конька на крыше до последней ступени крылечка!.. И здесь, у бакенщика Зимнего Николы, снасти дрожат в сетях, огонь мерцает в лампе и «чарочки по столику похаживают»...

Следуя древним заветам, люди с поклоном и трепетом выносят на трескучий лёд присоленную хлебную краюху – «подкармливают» матушку-Летунь, чтобы она была к ним благосклонна: не утопила бы в водоворотках во время сплава на плотках и лодках, не скрутила бы судорогой во время купания; вода всё видит, все отражает, а значит надо, чтобы в ней отражались только добрые дела, – и тебе тогда отплатится добром.

Идёт, гудёт река – через хребты, через века...

Холодным сверкающим лезвием лёд со страшным скре-

жетом строгают нижние венцы амбаров, жилых домов; легко срезает вербы, ошкуривает молодой топольник; огороды пашет серебристым плугом, и, точно пироги, разламывает лодки пополам и, не найдя в них никакой начинки, отбрасывает в сторону – и дальше прёт и прёт напропалую!.. По бревнышкам раскатывает чью-то поближе до воды поставленную баньку, мраморными плитами устилает улицу, по которой зайцами скачут перепуганные люди, суетятся и кричат, как на пожаре... Собаки жалобно и жутко воют, плачут в небеса, оцепенело сидя на сараях либо чердаках. На дымящихся льдинах головёшками чернеют грачи, вороны что-то клюют...

А ребятишки забрались на ветки высоких деревьев – шумят, качаются, наполненные несмысленной радостью!..

3

Ледяная гроза миновала, рассыпав осколки стеклянного грома по берегам, по островам и протокам.

Угомонилась Летунь-река.

Угнездилась во крутые берега.

Тихо-тихо теперь по округе, даже слышно порою, как начинает паук в кустах над рекой паутину растягивать; почки трещат на берёзах и ласковая липкая листва со скрипом на волю выворачивается...

Скоро, скоро взойдут первоцветы, ветреницы, ланды-

ши, запылают жарки, Марьины корни размягчатся. Но больше всего ожидается здесь другое цветение – широкое, дивное. Цветение это всегда бывает после ухода полой воды, после первых серьёзных припёков по-весеннему близкого и обнаженного солнца, когда подсохнет, нежным дымком отдымится – облегченно вздохнет полной грудью! – перезимовавшая земля, источая бражный дух, заставляющий сердце дуреть и плясать без причины.

В эти вешние ночи и дни золотисто-зелёными шаями укрываются в здешних местах мокродолы. Это буйно цветут чистяки – травы дикие, вольные и неприступные. Косари на них глаз не положат и скот не позарится, обойдёт стороной, а не то поотравятся и копытки пооткинут коровы.

Почки этой травы здесь зовут почему-то «небесной пшеницей». Почему? Может быть, и в самом деле с неба столько много её насеялось, травки этой – божья помощь людям. В недород, в голодуху крестьяне гребли в рукавах ручейков, собирали до кучи и в дом волокли ту пшеничку. Мяли, терли и в пищу пускали. И ели за милую душу. А как же иначе? Что делать?! Голод вымучит, голод и выучит...

А в колдовских целебных отварах чистяков издавна купали золотушных ребятишек и вынимали из корыта чистеньких да розовых таких и радостных, что можно бы принять за ангелочков, но крылья за спиной ещё не выросли, а только так – подкрылочки видны.

И другую пользу приносят чистяки, если древних травни-

ков послушать. Взять хотя бы эту «пузатенькую мелочь» – всякие там бородавки, мозоли; издавна их выжигали не калёным железом – соком чистяка. Да мало ли ещё каких секретов! Одним словом, к добрым и неглупым людям – добрая трава, и всех добрых дел её не перечислить.

И вот ещё одно добро прибавилось. По имени этой травы стала называться деревенька.

Русский мастер Емельян Прокопович обосновал за перевалом это поселение – Чистяки. И сам стал Чистяковым называться.

Так, по крайней мере, бакенщик рассказывал – Никола Зимний. Но поскольку тот Никола редкозубый – не всему, наверно, и поверишь на слово. Между редкими зубами, как известно, нет-нет да и проскочит весёлое вранье...

4

Крепкий дом стоял на берегу, стеклянными глазами в синих бровях-наличниках далеко смотрел – в луга травокосные, в тайгу, на кедровых и сосновых лапах по горам ушедшую за перевалы. За домом – огород и небольшая «пристань», куда пристали три-четыре плоскодонки, хорошо проконопаченные мохом, аккуратно просмоленные варом. Лодки были как большие – для отца, так и маленькие – для ребятшек, которых он приучал сызмальства самостоятельно жить.

Детей у Чистяковых было – семеро по лавкам и все парни, вот что удивительно. Хоть бы одна девчоночка для смеху народилась.

– Злата, душенька, – просил хозяин с ласковой улыбкой. – Ты уж постарайся, подари мне доченьку на этот раз!

– Ладно, ладно, – обещала женушка, поглаживая выпуклый живот. – Только что-то шибко больно доченька твоя колотит мне ногой под сердце. Да и я лицом, гляди, как изменилась. Не иначе, как опять парнишка будет!

– Ой, Злата, ой, гляди! – «грозился» Чистяков. – Я стараться буду до тех пор, поколь девчонку не достану из тебя... такую же красавицу, как ты!

– Ну, старайся, что же? Я не против, – смеялась хозяйка. – Ты же мастер, ты же знаешь, где поставить золотую точку!

Жили дружно, это сердечное тепло передавалось детям, поэтому день ото дня счастье множилось в доме у Чистяковых.

Сыны росли как грузди белые в бору – один к одному. Крепкие, статные. Любо-дорого смотреть на таких сыновей! И ничего, что сам Прокопыч понемногу сутулился и увядал, зато парни в плечах к семнадцати годам раздались так, что и в двери напрямую не могли пролезть. Кое-как протискивались боком.

Емельян Прокопович, понятное дело, гордился удалыми сынами. Сызмальства учил их топору и плугу, и другим крестьянским ремеслам и заботам, на которых искони держа-

лась наша русская земля. Где шуткой-прибауткой, где всерьёз ребята познавали секреты и премудрости погоды, хлебопашества, учились понимать язык цветов, зверей и многоголосие тайги. И такие оказались башковитые, что своей смекалкой могли заткнуть за пояс всякого-любого – и в том числе батяню своего.

Культияпый Кикимор Кикимордович, который, говорят, с нечистой силой знался, неоднократно приезжал к ним в гости.

В первый приезд состоялся у них вот таков разговор:

– Хотел я тебе в знак примирения возвратить серебряный топорик, – сказал Культияпый. – Да только вот пропал он, окаennyй. Честно говорю. Хотел вернуть.

– Верю, верю, – сказал Чистяков и как-то странно посмотрел на него. – Это хорошо, что захотел вернуть. Плохо только то, что долго собирался. А ведь он такой, что ждать не будет.

– Кто ждать не будет?

– Серебряный топорик. Он сам пришёл ко мне. А что ты рот разинул? Я тебе разве не говорил?.. Ну, извини, забыл.

– Так он что же? – изумился Культияпый. – Он у тебя? Топорик?

Чистяков сходил в сарай и принёс топорик в кожаном чехле, застёгнутом на несколько замысловатых секретных застёжек. Серебряное лезвие к тому времени уже померкло и сильно затупилось в руках злодея, но всё-таки ещё светилося в темноте и оставалось таким сокрушительным – камни мож-

но рубить.

Сыновья, подрастая, живо стали интересоваться таким необычным сокрушительным лезвием, и Емельян Прокопович рассказал им, что это был за инструмент, как можно изготoвить.

И тогда самый старший изумил Чистякова своей проворностью и смекалкой. Если бог старый месяц крошит на звёзды, решил старший сын, если бог когда-то протянул отцу осколок месяца – для сказочного лезвия, то почему бы не поохотиться в тайге за... упавшей старою звездой?

Сказано – сделано. Скоро в тайге – за чёрным горизонтом – старший сын отыскал упавшую звезду, разлетевшуюся на осколки и, покуда ещё не остыла она, парень умудрился до дому принести и, обжигая руки, отковал себе новый светоносный топорик – ярче прежнего и звончее.

И собрался тот старший, как некогда отец его, пойти по нашей беловодской стороне со своим серебряным топориком – ставить новые дворцы, терема да храмы, невиданной красой пугающие всякую нечисть на земле.

И тут заявился к нему знаменитый наш Петюня Чистоплюйцев, загривок чешет и говорит:

– Храмы – это хорошо, их надо ставить на Руси! Но сегодня, брат, надо нам с тобой рубить священные колодцы. Я так своим скудным умишком сужу. Сухой потоп к нам движется!

Бакенщик прервал рассказ.

Ветерок за окошком поднялся, в раскрытую дверь повеяло речною свежестью и запахом сетей, сверкающих рыбьими чешуйками, слетающими наземь – сети сушились неподалеку.

– Я понял по вашим глазам, люди добрые, что ни хренушечки вы пока что не слышали про нашего Петюню Чистоплюйцева!

– Нет, – признались приезжие. – Мы ни сном, ни духом про этого Петюню. А кто это такой?

– Вот собиратели! Итишкины приятели... – добросердечно ругнулся бакенщик и, поправляя пышный «сугроб» своих рассыпчатых волос, потревоженных ветром, стал укорять собирателей русского слова. – Ну-у братцы! Как же так?! Без Петюни вы никогда хорошей сказочки не сварите, ни-ни!..

– А вы? – осторожно спросил пожилой собиратель. – Вы нам не поможете сварить?

Закуривая, бакенщик покачал головой.

– Нет, я уже сварил, вы скушали. – Он выпустил облако дыма. – Я вот курю да на реку смотрю. Скоро сюда пришлѣпать должен пароход. Может, видели? С этими... с большими птицами...

– С какими птицами?

– Ну, которые воду гребут.

– А-а-а! Колёса с плицами?

– Вот-вот. Вы на этих колёсах с большими да звонкими птицами... – Никола усмехнулся. – На этих колёсах, коль захотите, можете доехать до наших старожилов, тут недалече, в низовьях. Найдете Чистоплюйцева, он там один остался из этого чудного рода... А? Годится вам такое предложение?

– А куда ж мы денемся? – сказали собиратели рассыпанного слова. – Такая у нас работёнка.

– Ну, вот и собирайтесь... собиратели. Подробности об-скажу дорогой до причала. Да бумажки-то свои в клеёнку, что ли, заверните. По воде пойдёте, не посуху, как бы не за-мокли наши почеркушки. И на что они сдались вам? Вон лучше бы тайменя порыбалили, хайрюзка. Пока что можно зацепить. Бодяжит ещё рыбка по реке. Конечно, измельча-ло население в ней. Мне вот раньше, к примеру, даже двух рук не хватало, чтобы свой улов изобразить. А щ-щас? Двух пальцев хватит, вот как бутылку показать... А что смеетесь? Я не брешу, не глядите, что Никола редкозубый.

Они помолчали, глядя в окно. Вышли за дверь. Там по-свежело – ветерок трепал зелёные платки на берёзах, кусты смородины шерстил, словно бы ягодки на ветках пересчиты-вал.

Скоро старый пароходик с плицами завиднелся на реке, черным дымом от натуги закоптил на белом перекате.

– Ну, с богом! – Бакенщик сунул тёмную ладонь, похожую

на потесь здорового весла. – Да осторожней на воде, а то она с характером у нас, Летунь-матушка...

– Никола, извиняюсь, как вас по батюшке? – замялся пожилой коллекционер словесности. – Мы слышали, будто бы вы нашли на дне реки жемчужину.

– Уже, стало быть, и вам разболтали? – Бакенщик нахмурился. – Ну, есть такое дело. Есть у меня знакомая русалка. Мы с ней как-то плавали, ныряли и она мне показала хитрый омут на Русалкиных Водоворотах. Там хранятся у них жемчуга. Там, правда, глубоко и холодно. Судорога стянет – и поминай, как звали. Но ведь не зря же я Никола Зимний: я холодов не боюсь. Нырнул, когда поспорили, ну и достал – ядреную, чуть меньше воробьиного яйца.

– Ого! – изумились собиратели – И где она теперь? Жемчужина.

– Та-а-а! – Бакенщик смущённо отмахнулся. – Нету...

– Ну, а всё же? А? Нам интересно.

– Да ничего интересного. Прошлой осенью загнал за поллитровку.

– За поллитровку? Серьёзно?

Бакенщик ещё сильнее смутился. Землю сапогом поковырял.

– Душа горела и просила остаканиться. Такое вот дело...

– А кому отдали?

– Так я ж вам говорю: ищите Чистоплюйцева. Он из этой жемчужины какую-то фиговину собирался делать – кочку

или точку, я не понял.

– Точку? – Собиратели русского слова многозначительно переглянулись. – Он так сказал?

– Да я не расслышал, как он сказал. Ну, идите, идите. Вот, уже причаливает. Уже колёса с птицами замолкли.

Седой сутулый бакенщик, стоя на мысу, продутым сырыми ветрами, прощально помахал рукой своим гостям. Долго, терпеливо он топтался на ветру, смотрел на уходящий пароходик, покуда тот не скрылся за речной излучкой.

Плутовато улыбаясь, бакенщик вернулся в избушку. Чайник поставил на плиту. Закурил возле окна. Потом достал шкатулку из какого-то секретного ящичка в деревянном столе. Воровато посмотрев по сторонам – на всякий случай – бакенщик бережно открыл шкатулку, достал оттуда скатную жемчужину и, нацепив очки, стал её рассматривать.

– Ага! – вслух подумал он. – Раскатали губу на готовенькое! А то я сам смикитить не смогу, куда мне эту точку жемчужную приладить. Я, конечно, не мастер, но ничего, какие наши годы? Будет праздник и на нашей улице! Если нету точки золотой – сгодится и эта, жемчужная.

Глава четвёртая. Змей-сухоей. Случай, о котором и старожилы не помнят

1

Всемирный потоп – стихия, сегодня известная даже малому школьнику, не говорят уже о людях взрослых. Но потоп этот – поймите меня правильно – это был мокрый потоп. А вот о всемирном Сухом Потопе слышали не многие, потому что это место фарисеи и чернокнижники нарочно измарали, изъяли из учебников истории. Во-первых, потому что, во многой мудрости много печали, а во-вторых, чем меньше знаешь, тем лучше спишь. А между тем, пора бы и проснуться. И прислушаться давно уже пора к тому, что звучит как сказка, а на самом-то деле... Ну, да ладно. Начнём по порядку.

Жил да был на нашей беловодской стороне один знаменитый чужак – Петюня Чистоплюйцев. По молодости в городе, рассказывают, он много и старательно занимался разными науками, перетрудился, бедолага, переусердствовал и голову чуточек повредил какими-то шибко мудреными книжками; то ли много прочитал, то ли сверху, с книжной полки, шиб-

ко много упало на черепушку; история об этом умалчивает. Ясно только одно – повредился Петюня. Но, однако ж, нету худа без добра.

С той самой поры Петюня чувствовал себя свободной птицей. По лесам, по деревням скитался. Нигде не работал чуждак, а всегда – «сытый, пьяный и нос в табаке». По такому поводу завистливые люди догадки строили: был, говорят, у Чистоплюйцевых фамильный самородок, и немалый, потому, дескать, такое райское житьё у чудака.

Петюня слышал эти рассказы и, ухмыляясь, соглашался: – Да, есть у меня кой-какой самородок! – и по голове себя при этом постукивал пальцем...

В то далёкое лето, накануне страшного суховея, проходил Петюня Чистоплюйцев по многим беловодским деревням и городам. В Чистяки неоднократно заворачивал. Поднимая свой жилистый перст, предупреждал он всякого встречного и поперечного:

– Бойтесь, люди, бойтесь! Сухой потоп идёт на нашу землю! Запасайтесь святою водой! Я так своим скудным умишком сужу...

Но ему, конечно, не поверили.

– Ничего, Петюня! Сухой потоп? – смеялись. – Это не страшно, Петюньчик. Лишь бы мокрого не было!

И светло и тихо лежал кристально-чистый воздух поутру над беловодскою долиной. Ничто беды не предвещало, и вот на тебе: свистопляска чертей началась в одночасье.

Солнце, в полуденный рост поднявшееся над землей, точно обуглилось вдруг – потемнело, присыпанное взвившимся песком. Из-за перевала с южной стороны гибельным набегом ринулись чудовищные бури...

На тропах, на дорогах вскоре намело могильные холмы. Звери задохались в норах, птица мёрла в гнезде. Обмелели и примолкли реки; вздувшийся тухлый таймень, осетры двухпудовые, ленок и хариус – рыба косяками валялась на перекатах. Притоки пересохли, обнажая грязные донья. Замутились ручьи. Под красновато-рыжей шапкой раскалённого песка замирал животворный некогда, с кристальной водицей, кипун – святой родник, возле которого стояла потаённая часовенка.

А свистопляска длилась!.. Длилась день и ночь – неделю, две! И столько было вздыблено песка, словно черти в своих ступах раскрошили и истолкли все беловодские горы!..

Когда выдыхались кручёные злые ветра и песок барханами валился на живьём зажаренную ржавую траву, усыпанную драным листвавьём, птичьими перьями и хвоей, по желтушному безоблачному небу куролесило оплавленное солн-

це. Нещадное, острое. Такое солнце может выколоть глаза, если глянуть в открытую...

Крестьяне, как погорельцы, почерневшие от солнцезара и от горестных предчувствий, скорбели и молились ежечасно: – Дал бы бог дождю в толстую вожжу!

Но, похоже, что бог отвернулся от них и, пользуясь этим, черти на земле спешили править бал, веселясь от человеческого горя.

– Гляди, что они делают! – посмеиваясь, говорил какой-нибудь потомок вертопраха. – Они все ещё верят! Лапотники несчастные!

Люди ловили змей в тайге, убивали и на берёзах развешивали, чтобы дождь пошел... Но нет! Не помогали человеку нынче его древние наивные приметы... Борозду сохой проводили поперёк улицы – бестолку. Пробовали мох бросать в колодцы – и тоже без пользы для дела.

Сухо в мире. Сухо. Нет как нет дождя, хоть задавись.

Жар погубил посевы окончательно. Сгорело то, что чудом уцелело в песчаных бурях.

В беловодской долине за Чистяками и ниже – в июле и августе – зерно золотыми слезинами капало наземь... Пустой колос понуро и пьяно кривился на пересохшей ножке, качал усатой рыжей головой и падал навзничь на растресканную почву.

По вечерам, в короткий час надломленной жары, в беззвёздном безжизненном мороке стелились по-над нивами

горластые грачи. Глухо граяло густое воронье с набитыми зобами, с темно-коричневой подпалиной на крыльях и хвостах – солнце нажгло.

Разжирев на бесчисленных зернах-паданцах, птицы в ту пору больше пешком ходили по земле, чем летали по небу.

Иногда – на вечернем, на утреннем ли горизонте – появлялся вдруг Петюня Чистоплюйцев. Теперь, когда пророчество почти сбылось, на него смотрели по-другому. С уважением и затаенной опаской: что на этот раз чужак промолвит?

Но Петюня, зажимая под мышкой очередную мудрёную книгу, в драных лаптях шагая по песку, хмуро молчал. Оглядывал распотрошенный лес, луга, деревню...

Сытый ворон летел над Петюней, тащил в когтях добычу – самое яркое яблоко, украденное с Древа Жизни.

Чужак, по щиколотку утопая в песках, удрученно бормотал, косясь на птицу:

– Это цветочки, цветочки, а ягодки ждут впереди! Скоро не яблоко ворон потащит в когтях – весь шар земной!

Ночью над горами в разошедшихся тоскливо-зелёных небесах виднелся тусклый месяц – как трещина. Испекшимся воздухом больно было дышать: саднило и царапало гортань...

Поляны позабыли вкус тумана и прикосновение целительной росы. Почернело сказочное Древо Жизни, притихло – соловьи и жар-птицы покинули на время своё пристанище. Жизненного соку поубавилось в корнях и ветках: ябло-

ки сморщились и погасили румянец. Мёртвый скрученный лист, переспевший до срока, шуршал в тишине беловодской округи, облетал, навевая тяжкие раздумья о завтрашнем голоде-холоде.

Хлеба повсюду враз подорожали.

Чистяков собрался ехать на осеннюю ярмарку – за перевалы в город.

Вздыхая, жена спросила:

– Да с чем же ты поедешь? Денег кот наплакал.

– Это верно. Денег не ахти как много, да только я решил прихватить с собою кое-что, обменять на муку.

Помолчавши, Злата догадалась.

– Серебряный топорик надумал променять? Так он же старый у тебя. Затупился.

– Я подточил. Как новенький теперь. Ты разве не заметила? От него всё подполье в сарайке горит со вчерашнего дня...

– Вот как раз со вчерашнего дня я там ещё и не была. – Жена вздохнула. – Жалко. Топорик-то продавать.

– Ничего, вернётся...

– Как ты сказал? – Злата вскинула брови. – Как это «вернётся»?

– А ты разве не знаешь? Он ведь от Кикимора... – Емельян Прокопович смутился. – От отца твоего... он ведь сам вернулся. Тетя твой собирался отдать, только ещё неизвестно, когда бы отдал. А топорик ждать не стал – сам ко мне

вернулся.

Женщина смотрела – поверить не могла.

– Это как же – сам?

– А вот погоди, узнаешь. – Чистяков улыбнулся. – На ярмарку поеду, променяю на муку, а через день-другой серебряный топорик снова будет здесь.

Злата задумалась.

– Обман получается. Нехорошо.

– Так я ж не нарочно. Я честно говорю, что так-то, мол, и так... отдаю вам топорик в руки, но только помните, что он с ногами – может уйти из дому. Держите на привязи. А не удержите, так не взыщите.

Грустно посмеявшись, Злата сказала:

– Делай, как знаешь. Ты – муж. Голова. Тебе думать, решать.

– А что тут думать? – Емельян Прокопович достал серебряный топорик из кожаного специально шитого чехла. – Жалко, но что поделаешь, как-то надо кормить семью.

3

На утренней зорьке упали первые стылые снега: сверкали и похрустывали яичной скорлупою под копытами, а сзади, в конских рывтинах, оставленных посреди двора, – дрожал солнечный свет, кажущийся мокрыми размятыми желтками.

Напоследок, проверяя упряжь, сани, Емельян Прокопо-

вич обошёл кругом коней, стоявших за воротами.

Петюня Чистоплюйцев мимо брел. Остановился рядом и неожиданно посоветовал:

– Верни топорик сыну и никуда не дергайся! Зря ты, Прокопыч, в город наострился. Я так своим скудным умишком сужу: тебе обратного пути не будет.

– А что ты мне прикажешь: суп из топора варить? Зима на носу, – занервничал хозяин. – У меня, Петюня, фамильных самородков нет за пазухой, не прокормишься на авось.

– Лучше быть голодным, да живым, чем сытым, да мёртвым. Я так своим скудным умишком сужу, – резонно ответил чудака и лаптями захрустел – вдаль по снежной дороге.

«Вот проныра какой! Откуда же он про топорик узнал? Даже сын ещё не спохватился, а этот босяк – тут как тут!» – удивился Емельян Прокопович, тревожась и не зная, как лучше поступить: остаться или только волшебный топорик оставить и всё-таки ехать?

Злата вышла за ворота – проводить.

В простых нарядах Златы, во всей ее фигуре чувствовалось что-то королевское: крестьянки так не ходят; с таким небрежным шиком ни одна из деревенских женщин не умеет носить ни узорный платок, ни жакетку. Емельян Прокопович не раз об этом думал. Тайна, большая тайна сокрыта в каждой женщине. Но Злата среди них – тайна и загадка, не измеримая большая... Неужели правду люди говорят о её королевской крови? Или – царской, точнее сказать.

Емельян залюбовался вдруг женою – точно в последний раз глядел...

«А всё Петюня чертов! – спохватился он. – Смутил меня своею болтовней!»

Бабье чуткое сердце ещё с ночи беспокойством переполнилось. А теперь и вовсе – места не найдет себе в груди.

– Ты поосторожней там, – просила тихо, слезно. – В горах-то поди скользко...

– Не первый раз! Ты что, мать? Бледная какая-то. Не выспалась?

– Ох, не знаю... Боязно мне что-то отпускать тебя в далекую дорогу!

– Тю-ю!.. Ты брось дурить, – одёрнул он помягче и нахмурился, глядя на удаляющегося Петюню Чистоплюйцева. – Так что? Давай останусь? А что мы будем есть? Детвору чем кормить?

Злата покорно вздохнула.

– Да я понимаю... А может быть, завтра уехал бы?

– Спокойно! Мастер знает, где поставить золотую точку!.. Сегодня? Завтра? Какая разница?.. – Чистяков заволновался, сердцем чувствуя правоту в словах женщины: задержаться надо бы немного и тогда... А что тогда? Чему быть, того не миновать. – Очередь на ярмарке с каждым днём растёт, так что надо поспешать, моя хорошая!

– А Петюня чего здесь топтался?

– Подвезти просил... – Он отмахнулся раздраженно. – Да

нам не по пути. Ну, все, мать, не горюй! Я ненадолго!

Как-то очень порывисто, крепко Злата обняла его, поцеловала.

И осталась одна-одинешенька на дороге; дети спали, батя с ними вечером подосвиданькался.

Взбодря не столько упряжку, сколько себя, Емельян Прокопович сильно встряхнул поводья и отчаянно-весело свистнул. Кони, грудью распирая хомуты, свежо и в охотку слетели под гору и, радостно копыта чистый путь, выпугивая снежные искры из-под ног, скрылись за первую скалой на повороте.

И сразу – точно свету поубавилось на улице: в глазах у Златы помутилось. Женщина руки прижала к груди и заплакала, последним слухом слушая залиvistый переплеск поддужного колокольчика, летящего с горы на горку – в немыслимую и необъяснимо-пугающую даль.

Злата шагнула вперед и застыла... Сердце под рукою громко и тревожно билось, вторя колокольчику. Сердце готово было рвануться из груди – бежать за своим ненаглядным, своим невозвратным.

Она с трудом заставила себя отвернуться, пойти домой.

Ребятишки уже просыпались. Старшие ходили по ограде, дрова носили в избу, воду, с коровой в сарайке управлялись и между делом наблюдали в сизой синеве над крышами перелет каких-то запоздалых журавлей. Ещё никто не знал, а только с болью чувствовалось каждому: эти печальные пти-

цы навсегда будут связаны в памяти с последним отъездом отца. Эти печальные крики журавушек – точно сбитые с дерева листья – широко и плавно слетали с поднебесья, просились в душу и навечно прятались на самое глубокое сокровенное донышко.

Младший мальчик подошел, подёргал за материнский подол.

– Мамка, Артём говорит: кто-то наш серебряный топорик своровал!

– Никто не воровал. Найдётся.

И снова младший приставал, дергал за рукав:

– Мам, ну ты чего? Ну, ты послухай, мам! А когда наш папка возвернётся?

– Скоро, скоро, сыночек... – рассеяно отвечала Злата. – Скоро найдется топор, не волнуйся. Ночь настанет – топорик засветится – и найдем. Он, может быть, под снегом где-нибудь... Айда в избу, а то мне что-то зябко.

В доме после отъезда отца как-то тихо, пусто. И хорошо, что детвора всё время колготится, с вопросами лезет.

– А кого нам папка с ярманки привезёт домой?

– Да уж привезет, конечно! Гостинцы будут каждому – один другого краше. За тем наш папка и поехал в город...

– А какие они, эти ярманки? Мам! Чо там? Как там?

– О, ребятишки! – Она улыбнулась, глядя куда-то вдаль. – Ярмарки у нас богатые. Их лучше один раз увидеть, чем сто раз про них слышать. Вот подрастете – увидите.

Младший парнишка резонно сказал:

– Ну, когда это мы подрастём! А ты бы сейчас рассказала...

Посмотрев на печь, на стол, где ждала стряпнина, Злата передник надела.

– Дела много теперь, а вот вечером, – пообещала она, – вечером сядем рядочком вокруг стола, самовар согреем. Вот тогда-то я вам и расскажу, распишу, как могу. И даже, спою, может быть. О наших ярмарках много песен поют по Руси.

Глава пятая. Восклицание о беловодских ярмарках. Застольная песня

И слышал я, и продолжаю слышать: как бы ни был, дескать, русский человек сегодня обут, одет, накормлен, а все душа в нем рвется – к минувшему деньку. И что ему там грезится такое?.. Непонятно? Так я вам отвечаю, господа.
Из разговора

Кто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот пускай не хвалится Москвой или Парижем, или каким-нибудь Лейпцигом. Видели мы всё это и знаем! И на мякине нас не проведёшь!

А ты приди, любезный, к нам на ярмарку!.. Поглазей, пощупай да покушай, да красного звону послушай!.. Вот тогда мы и поспорим, кто из нас богаче, что у кого вкусней!.. И вообще – за чаркой мёда посидим, поразглагольствуем о житье-бытье, о счастье... Приходи...

Да только нет и нет! Увы и ах! Кто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот уже и не сможет вовеки на них побывать!

Отпыхали ярмарки весёлыми нарядами! Отзвенели золотыми серьгами да бусами!.. Отплясали на большом кругу!

Приезжай, конечно, разлюбезный! Ворота у нас всегда настежь открыты, но теперь совсем не то увидишь, эх, не то!.. Обмельчали ярмарки – словно моря, бывшие когда-то без конца, без края, а теперь усохшие до размеров озера. Народец душой обмельчал!.. А вот раньше... О-о-о! Другое дело!..

Я сам не люблю, когда люди вздыхают, закатывая глазоньки под облака: ах, раньше, мол, раньше! Раньше было всё лучше, «красивше»! Гусары, шпоры, тройки с бубенцами, скрипки, зимний вечер у камелька и всё такое прочее и тому подобное...

Нет, любезный, нет! Мне ничего не жалко в старине! Всё просвистел бы, всё пустил бы прахом из-за своей отчаянной души! Все!.. Кроме беловодской нашей ярмарки, сыспокон веков прославившейся тем, что купить здесь можно всякую штуковину и даже чёрта лысого в придачу!..

Помню, помню, как же?

Сразу у ворот встречали гостя дубовые просторные прилавки, похожие скорее на мостовые, нежели на торговые ряды! Доски прогибались и кряхтели под тяжестью различных изобилий!.. А на этих «мостовых» – насколько глаз хватало – лежали свиньи целиком и по частям: головы, зады, окорока! Баранина, телятина, козлятина... Красные коровьи туши вздыбились на крючьях под навесом!.. Огромная туша быка... Туша буйвола... Да всё, что угодно!.. Подойди и подморгни мордатым мясникам, похожим на заправских пала-

чей: сделай-ка, дружок мой, в лучшем виде! И тут же стальная секира сверкнет полумесяцем, полыхнет полусолнцем – и смачно, удачно отхватит самый лучший кусок: огузок, грудинку, подпашек, английский филей!.. Главное, ты денег не жале! А в остальном – без проблем! Что пожелаешь, любезный, то и потащишь до дому! Только ты домой не торопись, ты ещё даже не огляделся, как следует. Ты же только рот разинул у ворот, а надо к центру, к центру пробиваться.

Ближе к центру нашей тороватой ярмарки на прилавках осетрина громоздилась – берёзовыми толстыми поленьями!.. Застывший тайменяка на тебя глазел, как водяной какой, – глазищи с воробыное яйцо!..

Живая рыба плавала в стоведёрных бочках и чанах, где вода перемешана с водкой: в такой волшебной влаге, слышал я, и до Питера можно было рыбицу довести живьём до царского стола – и довозили!

Не хочешь этой рыбки? Ну и ладно, не беда, любезный. Двинемся дальше – в темпе вальса.

Вот, смотри, балыки поджидают тебя! Скучающий торговец – нету покупателей, заелись! – ходит, перепачканный по локоть, как в грязи, в чёрной зернистой икре!.. А ещё дальше – облепиха-ягода виднеется рыжими пахучими буграми, точно под прилавками взялись рыть большие погреба и лопатами наверх кидали под завязку рыхлой мокрой глины!..

И тут же знаменитый беловодский сыр стоит высокими кругами, такими забубёнными колёсами, какие и втроём не

укатить – пупок развяжется!.. А тут, смотри, сметана, а там сливки, а там сверкает птичье молоко в бидонах!.. Да, да, любезный! Ты не ослышался! Именно птичье молоко, а не коровье! Тебя, пришедшего сюда продавать коровье молоко, любой мальчишка может обсмеять!..

Куры клокочут в красноталовых корзинах! Петух, привязанный суровой ниткой за ногу, чтоб не сбежал, горделиво кружит по прилавку разодетым щёголем, клювом тычет крепкую тесину – выбирает зерна из щелей. Ярко-малиновый гребень шириной с ладошку, с боку на бок бултыхается и весь горит сквозным живым огнём, когда петух из тенечка выходит на солнце. Петух такой, что всякий соловей-разбойник перед ним – как школьник перед седым учителем, ей-богу. Петух этот как воздух побольше заглотнёт, да как заголосит, словно иерихонская труба, да как замашет крыльями, точно дорогими красными платками, – от такого петуха и темень расступается, и нечисть разбегается, если она вдруг просочилась на эту ярмарку.

И всё же петух – не диковина!.. Изумишься, рот разинешь, если встретится тебе легендарный беловодский ворон, знающий немало слов по-человечьи! Ворон этот может рассказать, как сам он и его далёкие сородичи пировали в низовьях Волги – на пепелище Хазарского ханства, кружились над широким Иртышем и над Кучумовым городищем; клевали стеклянные очи убитых татар и монголов, и русичей; и хриплые чёрные песни тянул этот страшный варнак над го-

ловой Пугачева и Разина!.. Ах, чёрный ворон! Бессмертный, загадочный! В нём, как в жутком живом конверте, запечатаны, запечатлены многие минувшие века! И светлая и тёмная история Руси!..

Шагаем дальше... За первыми торговыми рядами – вторые громоздятся, третьи... пятые ряды!.. Одежда, лица, говор, смех!.. Всё перемешалось в лихом водовороте!.. И ты в нём растворился – малой каплей!..

Посторонись, любезный! Катятся откуда-то новые смолистые тележные колёса! Звенит наковальня! Подковы на счастье куют! Да что там подковы! Если не дай бог когда-нибудь раскуётся, разуется та легендарная блоха, которую тульский мастер подковал, прибул, – хватай блоху за жабры и сюда скорёхонько вези; тут мастера не только что блоху подкуют, но и всякого блошиного ребёнка!

Звоном звенит наковальня!.. Наборная упряжь бренчит серебром. (Упряжь наборна – лошадь задорна). И слышится, как песня для сердца казака, залиvistое ржание коней, копытами роющих землю, люто грызущих удалые удила, так, что искры веером летят из-под кремнистых молодых зубов!.. Добрými печальными глазами глядят на тебя – покупай скорее, не раздумывай! – и орловский рысак, и арабская широколобая лошадь; и золотисто-рыжий, рослый и выносливый дончак, хорошо известный в царской кавалерии и в боях за беловодские долины; и грудастый волосатый, неуклюжий, но могучий паровоз-тяжеловоз; и атласный, тонкий статью, гор-

дый и горячий, хлёсткий на ногу ахалтекинец, краденый где-нибудь в Турции и неизвестно какими ночными дорогами пригнанный сюда!.. И шотландские пони имеются для детворы! И великолепные Пегасы для поэтов!.. Да, да, любезный, не удивляйся! Только здесь, на нашей беловодской ярмарке, выбирали себе удалых, озорных крылачей наши знаменитые витии, улетевшие теперь под облака – звёзды хватать с небес!.. Именно тут в своё время были замечены светлые тени Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского; кто-то здесь выбрал Пегаса, а кто-то гусиное перышко, да не простое – беловодские гуси, живущие в молочных реках, сказочными перьями давно уже оперяются!.. И если уж о птицах говорить – только здесь вы встретите и жар-птицу, озаряющую полночь над ярмаркой, и Феникса, воскресшего из пепла. И птица попугай, и птица посмеши – все они гурьбой сюда слетелись, по веткам расселись!

Ну что, устал?.. А нет, так двинем дальше!

За этими гривастыми рядами тебя, любезный мой, встречают скоморохи! Белый медведь, так называемый князёк, на железной привязи танцует, кувыркается и чешет себе пятки по приказу мрачного усатого хозяина-цыгана!

А сейчас – внимание! – держи ухо востро! Воры-карманники снуют с монетою, заточенной, как бритва, или с обломком бритвочки, спрятанной под ногтем!

Гадалки подступают, за рукав начинают хватать и судьбу твою читают по ладони быстрее, чем иной прочел бы то же

самое по книге!.. И если ты доверчив, наивен, как дитя, и позолотишь гадалке ручку раз-другой – пиши «пропало!» Тебя в одно мгновение облапошат, обдерут, как липку. Замелькают, зашуршат перед тобою разноцветным веером – черви, пики, трефы, бубны, дамы, короли, валеты!.. Любая карта из колоды выплывет по-щучьему велению! Всё будет разгадано самым прекрасным образом: крестовый дом и дальняя дорога, слёзы, встречи и, конечно же, любовь!

А под конец, когда в твоих карманах загуляет ветер, перед тобой сойдутся все четыре краплёных туза – исполнение желаний...

Нет, нет, любезный! Предупреждаю! Ты с этим делом у нас не шути! А то голым с ярмарки побежишь по городу, бывало и такое!

Лучше сюда обрати свои взоры! Вот, сбоку ярмарки, стоят столы и расписные стулья! Пахнет чем-то вкусным, жарким! Эти запахи плотной стеной спрессовались, ты в неё упруешься обязательно и, даже если сыт по горло, не сможешь удержаться от соблазна. «Чёрт меня дери! – воскликнешь мысленно. – Я, кажется, сто лет не ел!..»

Угощайся, гость! Гуляй напропалую!

На столах, покрытых пёстрыми скатёрками с кистями, навалены шаньги, булки, пироги с начинкой, сосульки разноцветных леденцов и ароматные дырки от бубликов – самые вкусные штучки!.. Здесь горячо воркуют и кипят, вприсядку ходят по столам русские тугие самовары, крепкий чай лох-

матится в китайской пиале с золотистым ободочком и узором! Кто-то в шелковой чалме сидит на своем коврике, завязавши ноги немыслимым узлом, поёт своё родное, заунывное и широкое, как степь: «А-а-а-ла-ла-ла-а-а!..» И разрезает ятаганом крупные куски халвы или щербета!..

А в стороне искрят, играют с ветром бездымные берёзовые угли и на шампурах шашлыки шкворчат и шепчут что-то!..

Замешанный на мускусе, на лаврах и лаванде, на перцах и на всяких прочих симпатичных специях и эфирных маслах, воздух тут густой и аппетитный до того, что в голове мутится!

Бездомные собаки, те просто чуть не бесятся. Подпрыгивают, бедные, кусают воздух и рычат в недоумении, ощущая в пасти пустоту!

А где-то в ногах у собак, под столом развалился могучий россиянин – хмельной, счастливый, смотрит в небо и радостным благодушным голосом выводит что-нибудь раззадорное:

Эх, р-р-располным па-а-а-лна мая-я кор-робушка, есть в ней си-и-итец и пар-р-рча!..

Но коробушки нет уже у него, голубочка сизого! Что не пропил, то украли, черти окаянные!.. Но уж погодите-ка! Дайте-ка дяденьке встать! Найдёт он тех чертей и тошно будет им!. Ей-богу, тошно! Он пощекочет им бока! Свернет

рога!..

Ярмарка у нас без мордобоя никогда ещё не обходилась. Это вроде как уж и не ярмарка, а так себе – простой базарный день!.. Только и это не страшно.

Ну, подерутся малость, почешут кулаки, а там опять целоваться полезут, обнимать друг дружку, объясняться в дружбе и любви, и трепака весёлого отплясывать!

И смех и грех!

Россия, одним словом!..

Ну, что, устал, любезный? А то давай ещё по ярмарке пройдемся! Ей ни конца, ни краю не видать!.. Не веришь?

Увы и ах! Кто не бывал на наших беловодских ярмарках, тот едва ль когда поверит мне! Лишь грустно улыбнется: ври, дескать, милок, приятно слушать!.. Угадал я твои мысли, да?

Ладно, ладно, замолкаю! Хватит душеньку травить!.. При смехотворных нынешних базарах – глаза бы на них не глядели, а то прямо плакать охота с тоски! – как можно поверить в рассказы о каких-то бесподобных искромётных беловодских ярмарках?!

Сказки всё это, басни, которыми, как известно, не накормишь соловья!

Вот так-то, любезный. Шабаш! Хотя я и не дошёл ещё до точки золотой, но прекращаю петь о беловодских ярмарках. Давай-ка лучше ты мне что-нибудь пропой, иль Расскажи про старину. Да заверни сюжетец, брат, покруче! И заверни, постарайся, не в какую-то газетку из-под селедки с луком, а

заверни в дорожную парчу! Что мелочиться-то? А? Или мало мы кому должны? Или нет у нас тугой мошны? Всё есть! И силушка, и ум, и честь!

Глава шестая. Где ты, пропажа моя? Святочные игры

1

Ах, святки! Пироги сладки! Кто вас придумал с весёлыми вашими песнями, играми и удалой скоморошиной!.. Сердце какого язычника не содрогнется на пороге того праздника, когда можно будет, гадая святочным древним гаданием, заглянуть в лицо своей судьбы?

Ах, святки, святки!..

Любила Злата их – до нынешней зимы. Теперь – боялась. Ворожба, гадание – ведь это разговор с нечистой силой, что-то знающей наперед. А сегодня-то как раз и не хотелось ей заглядывать в завтрашний день. Ничего там, кажется, хорошего не уготовано ей.

Всё это время – продолжительное время ожидания – женщина томила и тревожилась. Надежда и отчаянье боролись у неё в душе, попеременно перебарывая друг дружку. Вот почему святые эти дни или святые вечера, как называли их когда-то, потеряли святость в её глазах, померкли. Хотя она, конечно, всячески старалась бодриться и не выдавать своей печаль-тоски. Но ребяташки – особенно старшие – давно

уже приметили мамкины погасшие глаза, мамкины опущенные руки.

Ребятишки в доме, как могли, развеселить её старались в эти дни. Начиная святовать – святочные игры затевать – ребятишки рядились то каким-нибудь рогатым чёртушкой, то медведем косолапым, то черномазым деревенским кузнецом, то ещё кем-нибудь. Причём рядились так хорошо, так искусно – Злата в первую минуту ни по голосу, ни по облику не могла узнать, кто эти шутки шуткует: старший или средний? или, может быть, встал на ходули самый младшенький проказник?

Потешались ребятишки, колесом ходили по избе. И Злата, невольно увлекаясь общим весельем, ненадолго забывалась, глазами сверкала, посмеиваясь.

Но однажды стало не до смеха.

Открылась дверь однажды, морозным облакомдохнула – и вошёл в избу какой-то странный седобородый мужик, обличем похожий на Емельяна. И тулуп на нём был – о, господи! – Емельянов тулуп. Каждую заплатку на этом овчинном тулупе Злата прекрасно помнила – своими руками лепила.

– Мать! – грубовато воскликнул вошедший мужик, потирая руки с мороза. – Вот я и приехал! Ставь-ко самовар!.. Сыны! Вы как тут без меня? Нешто фулиганили?

Младшие, охотно поддерживая розыгрыш, повисли на шее, на руках «приехавшего папки», давай подарки спрашивать, за бороду трясти.

– Ну, хватит, хватит! Не балуйте! – неокрепшим басом басил «мужик». – Отстаньте, говорю! А то вы оторвёте папке бороду вместе с башкой!

Братья начинали похохатывать, не в силах продолжать свои сыновьи роли.

Злата, в первое мгновенье чуть было не поверившая, замерла посредине избы. Широко раскрытыми глазами глядя на эту необычную святочную игру, она вдруг за сердце схватилась. Опуская голову, заплакала, подрублено присев на подвернувшийся табурет.

– Артём!.. – Вытирая глаза, она улыбнулась мокрыми дрожащими губами. – Сынок! Да разве можно так?.. Большой, а ума не нажил...

Детвора шумела вокруг неё, потешалась над ряженым плечистым «мужиком».

– Мамка, мамка! – смеялся то средний, то младший, дёргая Злату за рукав или подол. – Мамка! Гляди-ка, у него борода отклеилась, а он ходит, задаётся, будто правдешный!

– Борода с копну, а ума с навильник!

– Ладно вам! – осерчал Артём, смущённо сдирая паклю. – Вы шибко умные! Мы как договорились? А? Договор дороже денег. Вы ещё получите за это по соплям!..

– А мы-то чо? А кто это придумал?

Старший сын вздохнул, снимая отцовский тулуп. Виновато опуская голову, постоял, глазами ковыряя половицы. Зачем-то понюхал тёмно-красноватую овчину воротника. По-

том шапку отцовскую снял – старую, драную – бросил одежду на печь. Подошёл, обнял за плечи безутешно и беззвучно заплакавшую Злату.

– Успокойся, мам... Ну, что ты? Ну, не хотел я так тебя расстраивать... Не плачь! Приедет скоро! Мы гадали. Он себе бороду там отрастил. Он уже запрягает коней.

Злата вынула платочек из рукава. Промокнула глаза.

– Больно долго он их запрягает, Артемушка!

– Спокойно! – грубовато заговорил Артём отцовским голосом. – Мастер знает, где поставить золотую точку!

Гортанный, с характерной хрипотцой – голос до того похожий был, до того любимый и родной – сердце обжигало и зареветь хотелось ей, завывать волчицей...

2

И смотрела она и смотрела за перевалы – в ту сторону, где каждый день рождаются и ходят по горам розовощекие весёлые рассветы. Смотрела теперь туда женщина с таким иступленным упорством, с таким ожиданием, как будто все другие части света для нее померкли навсегда. И даже в тот глухой и жуткий час, когда метельный дым в ночи, морозные туманы гасили над землей последний проблеск месяца или звезды, маяком поставленной в седловине гор, – даже тогда ей брезжила заря в той стороне. И согревал ей душу тот несказанный огонёк надежды и любви, который на земле

даруется очень немногим; ждать да догонять – кому понравится.

За перевалы – до беловодского городка, находящегося в широких и уютно сложенных «ладонях» предгорий, – гонцы обычно добирались денька за два, если лошади добрые. На ярмарке толкались день-другой. Ну и обратно ехали денечка три – это смотря какой груз и погода какая.

В общем, хоть так прикидывай, хоть эдак – за неделю можно смело обернуться.

А Емельян Прокопович уехал – как в воду канул. Поначала Злата недоумевала: «Что там случилось? Где его носит? Пропил, небось, денежки и на глаза теперь боится показаться!» Но Прокопыч был не из тех, кто может с головою окунуться в винный омут, – жена это отлично знала.

А где же тогда он пропал? Нашёл себе, наверное, на ярмарке зазнобу, какую-нибудь городчаночку, живёт с ней припеваючи, горя не знает, а она здесь мучайся... И опять же без причины ревновала: слишком сильно он любил детей и Злату, и вообще, он был мужик с таким неразменным характером, который не позволял мелочиться, душу менять на пятаки. Она это давно уже почуяла. И тем горше было ей осознавать, что Емельяна Прокоповича задержать, остановить могла только серьёзная какая-то причина.

Коренная зима укрепилась в округе.

Морозы под сорок шарахнули, в полночь разрывая лёд на реках, раздирая шкуру на деревьях – морозобоины, как то-

пором, рассекали неохватные сосны, кедрач и лиственницу. По такой погоде никакая таёжная птаха лететь не решалась. Голодная белка сутками в дупле томилась, пушистым хвостом закрывая «дверь» на волю, куда страшно было даже высунуться, сбегать за кедровыми орехами – ухоронка рядом, а не сунешься.

После морозов – как после тяжёлой артиллерии – дым пошёл по небу; метель задымила синь-порохом. Бураны покатились по долинам, по лугам, свистя в деревьях. Густые, плотные и длинные бураны спеленали солнце так, что даже пятнышка желтого не разглядеть в небесах. И точно так же было в ночь полнолуния – за метельным плотным полотном даже намёка не было на серенькое лунное пятно.

Все пути-дороги заросли дремучим снеговьём, до весны отгородившим весь божий мир от Чистяков и Чистяки – от мира.

И только тогда – в необъятной, беспредельной тишине, установившейся после метелей – словно горячий уголёк упал на бабье растревоженное сердце.

«Все!.. Сгинул дорогой мой, ненаглядный! Либо в тайге натакнулся на зверя, либо злодеев каких повстречал – хуже всякого зверя!»

Ночи от подобных мыслей превращались в пытку. Сцепивши руки на груди, она лежала, как в гробу – в холодной и жёсткой постели. Смотрела в пустоту перед собой, точно держала взглядом чёрный, тяжелый, готовый обвалиться по-

толок. Не только слухом, но как бы сердцем – далеко прослушивала темень за стеной... И ненадолго погружалась в горячечную болезненную забыть...

Мышь где-то под полом шелестела и попискивала, голодная, или это сверчок сухо потрескивал где-то за печкой... А женщине сквозь дрему грезилось одно – желанный сладкий скрип саней!

Резко распахнув глаза, вскочив с постели, она приходила в себя. Слушала гулкое сердце, готовое вырваться из груди. По сторонам смотрела. Понимала: нету, нету сейчас никого за окном!.. Но сдержаться уже не могла. Стараясь придумать причину – корову посмотреть, овец – Злата скорёхонько одевалась. Шагала на хрустящее крыльцо, укрытое волнистым пышным инеем, точно серо-голубым каракулем.

На дворе – безлюдно. Тихо. И промозгло. В вышине над стрельчатой церковью, над крышами амбаров и домов, за огородами – среди обмёрзлых белобородых кедров – всюду горели, помигивая, живые звёзды. Каждая играла своим светом наособицу, но все они в этот час были одинаково близкие и удивительно яркие. Такие звезды можно видеть лишь в горах зимою – в необыкновенно чистом воздухе... Кажется, только привстань на цыпочки – и можно дотронуться до поднебесных огней! Что это? Почему?.. Будто накануне рождественского праздника и во время святочных весёлых игр чьи-то добрые заботливые руки специально опускают звезды на незримых нитках – прямо над весями и городами, чтобы

люди могли отогреться душой возле волшебных созданий, чтобы могли и вспомнить и поверить, что они, люди, гораздо лучше, чем они есть. Люди зачастую забывают о своём высоком предназначении, много суетятся и греховодничают, и только на пороге большого праздника душа вдруг вспоминает о поднебесном доме, откуда она пришла на эту землю погостить...

«Господи! – молилась женщина, запрокинув лицо к небесам. – Заклинаю тебя! Сделай так, чтобы он был живой!..»

Долго стояла, плакала. Слёзы каменели на морозе.

Голубоватый и седой спокойный свет струился над миром, высветляя душу. И хотелось верить: всё наладится. Свет рассыпал над миром надежду и любовь, как рассыпают пахари зёрна по весне – рукою широкою, щедрой...

Но время шло, терзая душу неизвестностью. Дорога, ведущая за перевалы – в далёкий беловодский городок – была по-прежнему пуста.

В коротких снах то ворон прилетал – значит, горе, то волки приходили – значит, враги.

Горячий уголёк, откуда-то свалившийся на бабье сердце, в тревогах раскалился добела, до страшной боли, затемняющей рассудок.

И однажды в глухую метельную ночь, когда сделалось немощно сидеть, сложа руки и ждать неизвестно чего, – Злата отчаялась.

На минуту вышла на крыльцо – снова скрип саней почу-

дился. И, в чём была одета – в легкой шубейке и в пимах на босу ногу – в том и ушла по сугробам...

Заблудилась где-то в дальнем далеке... Безуспешно и долго барахталась в липкой пурге, как в разорванной душевной перине. Обессилев, опускалась под навесы кедров на полянах или отдыхала на покосах в заветерье под скирдами...

3

Метель утряслась поутру. В сизой пелене над перевалом солнце приоткрывало воспаленный глаз.

Утомленно озираясь, женщина с тихим удивлением и горечью поняла, что находится недалеко от дома. Не иначе, как лешак всю ночь её кружил, не отпуская к любимому.

Места были знакомые, но сильно и странно преображенные искусной кружевницей. Метель, конечно, постаралась и тоже устроила нечто вроде святочной игры. Поляны, деревья, скалы вдалеке – всё обряжено прозрачными подзорами, манжетками, фонариками и сборками. Каждая таёжная простушка, будь она ветлой или осиной, вышла в это утро из пурги – в соболях да в голубом песце, кокетливо наброшенном на плечи. Драгоценными ожерельями алели калиновые гроздья в заиндевелых, будто бы серебряных оправках. Рябины обрядились в рубины.

Диво дивное!.. Что это?..

Аж сердце охолонуло от промелькнувшей догадки!

Что за драгоценности? Какие? Чьи?.. Сколько лет живёт она в тайге, а никогда ведь раньше ей такое в голову не приходило. Что такое? Каким таким образом связано это с Прокопычем? А ведь связано как-то: сердце чувствует... Что оно чувствует?

Остановившись на поляне, женщина всем телом повернулась к перевалу. Бессонные глаза её с голубоватыми тенями в провалившихся подглазьях испуганно расширились.

В горах обвал ударил по сонной тишине и над вершинами тайги, над перевалом снежная серебряная «шерсть» широко и медленно дыбом поднялась... Из глубины тайги вереницей полетели птицы, панически пища над головою женщины – снегири, свиристели. Заяц прошмыгнул мимо неё, оставляя глубокие, далеко друг от друга откинутые следы. Горностай на коротких ногах пробежал, точно проплыл по сугробам, вытягивая длинную шею с треугольной головой и небольшими круглыми ушами.

А потом – в какой-то зачарованной странной тишине – широкими скачками по сугробам к ней стала приближаться белая волчица. Ослепительно белая. Крупная. Длинноногая. С длинным хвостом. С голубыми глазами на грустном лице... Да, да, это была не морда зверя – это было лицо, умудрённое жизнью, опалённое горем, которое может испытать не зверь, но человек. Раненая грудь её сочилась кровью – горячими крупными каплями – и заснеженные кусты, через которые перескакивала белая волчица, вдруг зацветали яр-

кой, жаркой волчьей ягодой... Следом за ней летело снеговое облако с багряными разливами зари или, может быть, крови, недавно пролитой на восточном склоне перевала, откуда убегала эта ослепительно-белая волчица...

Поднялся вихрь, и Злату закружило, и с головы до ног засыпало сухими странными снежинками, похожими на волчью седую шерсть...

А через минуту всё пропало – как не бывало.

Тишь да гладь, да божья благодать были кругом.

Светило солнце, восходя над перевалом. Снегирь посвистывал, сидя на самой вершине двухметровой ёлки – словно бы живая Рождественская звезда. Весёлая, певучая стайка свиристелей с хохолками – как будто недавно проснулись и потому пока не причесались – перепархивала с дерева на дерево.

«Так, может быть, и правда ничего?.. – подумала Злата. – Просто мне примерещилось».

Она была готова поверить в это. Да только в груди заболело так сильно, как будто обвал, произошедший далеко в горах, докатился до неё и придавил неподъёмными страшными глыбами – дышать неважно.

Она постояла, стараясь наладить дыхание, потом сорвала гроздь калины и погрызла, как бы желая убедиться, что это просто ягода, а никакая не драгоценность и уж тем более – не волчья застывшая кровь.

Отгоняя от себя дурные мысли, берегом пошла она туда,

где по её наитию должна была деревня находиться.

Вскоре долетел до слуха петушиный тонкий голосок. Ему откликнулся второй – этот был позвонче, а потом и третий – с хрипотцой... И вскоре завиднелись над тайгою вертикальные серые стволы печного дыма с малиновыми отливами морозной зорьки. Жилые запахи навстречу потянулись. Длинными стежками темнели прясла огородов у реки. Снегом занесенные стога там и тут на краю огорода возвышались курганами.

Светло-серые гуси, громко гогоча, брели по берегу: лапы красными цветками распускались на снегу. Вожак остановился у крайних огородов, крыльями взмахнул и приподнялся, точно собираясь улететь. Оглянулся на свой косяк и призывно что-то прокричал. Гуси гурьбой скатились под обрыв, где находилась прорубь.

И женщина за ними двинулась.

Под берегом щеглы качались на пониклых ветках, сорили семена ольховых шишек на тропу, занесённую пургой, никем ещё не мятую сегодня. Заметив человека, птицы порскнули со свистом над рекой.

Рядом с прорубью стояла пешня, утыканная пышным инеем. Взяв её дрожащими руками, Злата железным жалом проколола в нескольких местах окошко проруби, округло застекленное непрочным льдом и припорошенное снегом.

Вода вздымилась; огнём ожгла иссохшую гортань. Сделав несколько глотков, Злата вдруг почувствовала легкое круже-

нье в голове – покачнулся берег, покачнулись горы, небосвод... Она утомленно упёрлась руками в закрайки проруби – замочила каемку платка.

Сквозь чистую и выпуклую воду на неё смотрело желтоватое, обманчиво близкое дно. Среди песка, затонувших листьев и длинноволосой водяной травы чуть заметно пульсировало неутомимое прозрачное сердечко родника: отталкивало мелкий мусор от себя, кружило листья и подкидывало вверх крупную песчинку золотого цвета.

Усталая женщина улыбнулась чему-то, вздохнула с некоторым облегчением.

«Ну вот, – подумала, – а я зачем печалюсь? Надо мусор отогнать от сердца. Надо жить, крепиться! Что же это я?.. – Она вспомнила притчу из Библии, повторила несколько раз: «Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека! Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим!»

Злата поднялась и прошептала, глядя в синеватый лоскут небес, отраженный в проруби:

– Господи! Сделай так, чтобы он был живой! Живой!

И в следующий миг свершилось чудо.

4

Емельян Прокопович – так ей показалось – на лошади подъехал и затормозил у крутояра. Стремительные сани ед-

ва не опрокинулись, скользя по склону и разворачиваясь...

Знакомый голос окликнул женщину. Косолапо раскорячась, «Емельян Прокопович» стоял в санях, вожжи на себя тянул так сильно – лошадь морду спрятала под грудь и показала чёрное пятно между ушей.

– Миленький ты мой! – Злата побежала, в снег свалилась, шепча: – Любый мой! Да я уж и не чаяла дожидаться!

Возница лошадь от обрыва отвернул. Вожжи бросил, выскочил в сугроб и тоже ей навстречу поспешил.

Смутно видя сквозь прихлынувшие слезы, она поднялась. Руки распахнула и обняла его – что было силушки. Гладила затылок, бормотала несвязно:

– Да где ж ты... где же ты так долго пропадал?!

– Я? – воскликнул изумленный человек. – Я дома... спал...

– Да как же дома? Что ты говоришь? Я все глазоньки свои попроглядела! Емельян! Родной!

– Мать! Да погоди ты! Мать... Окстись!

Она не слушала. Содрогалась внутренним ознобом; нервы натянулись до предела.

– Родименький мой! Любый!.. Пропажа моя ненаглядная! Да что с тобой случилось на той проклятой ярмарке?! Я за тебя молилась, Емельян! Молилась, а сама уж думаю: век мне тебя не видать!..

Так плакала она и причитала в объятьях своего старшего сына, обличем и голосом разительно похожего на батю.

Игра не доведет до добра. Не знал он, затеявая шутливое переодевание в отца, что это так больно ранит матушкину душу...

Когда мать называла его Емельяном Прокоповичем, парень ошалело поглядывал по сторонам, точно искал отца. Грубовато хлопал по узкому плечу и гудел прямо в ухо:

– Мать! погоди, ты что? Окстись!

И наконец, приводя её в чувство, парень не выдержал: взял за грудки и серьезно встряхнул.

Злата, сморщив лицо, пригляделась и вздохнула вдруг с таким надрывом, что у сына заныло в груди.

– Артамоша?.. Ты?.. А где же?.. Где наш отец?

– На ярманке... Где?..

Она слёзы сдёрнула рукавом со щёк.

– Ой, как тошно мне! Тошно! – призналась, прикрывая глаза длинными намокшими ресницами; глубинный радостный огонь в них мгновенно померк.

– Пойдем домой! – Сын потянул за рукав. – Ты вся продрогла, мам! Пошли!

– Нет, Артамоша, мне тепло... Мне жарко даже... Уголек всю меня спалил!

Он осторожно взял ее за плечи. Пригнулся, внимательно заглядывая в чёрные широкие зрачки. На бровях её и на ресницах парень заметил седые шерстинки.

– Уголёк? – Артём попробовал убрать седые шерстинки, но они словно примёрзли. – Какой уголёк?.. Ты что гово-

ришь?

– В сердце, Артамоша! В сердце! – Она дрожащею рукой потрогала. – Вот здесь... горит! Я уж хотела в прорубь... охолонуть... Силы больше нету – жар такой терпеть!

Снег за спиною слабо застонал. Подошел Милентий Аристархович – крёстный отец Артамона.

– Ты, кума, куда ходила? – начал удивленно, осуждающе. – Я приехал ребят навестить, а у них глаза по лбу катаются: мамка пропала!.. И топорик ваш серебряный исчез! Чего молчишь, кума?

Женщина вытерла губы мокрым концом платка. Неопределенно махнула рукою в сторону перевала и равнодушно призналась:

– Уйти хотела... к своему Прокопычу...

Милентий Аристархович, подумав, что ослышался, сдвинул шапку с толстого уха.

– Куда?.. Куда уйти хотела? В город, что ли? – уточнил недоверчиво. – Пешака?!

– И улетела бы... Да крыльев нет...

– Тю-у-у!.. – Старик от изумления задрал седые брови под козырек мохнатой шапки. – Совсем сдурела баба? Аль наполовину?.. Садись, давай, поехали до дому!

Злата неспешно вынула мёрзлую калину из кармана, поднесла к губам. Хотела укусить, но вместо этого проговорила, дыша на ягоду:

– Он теперь богатый человек... Я ожерелье видела!

– Ну, хватит балоболить! – рассердился крестный. – Домой, сказал!

– Я не хочу домой! Хочу к Емелюшке!

– Заладила... – Старик нахмурился. – А кнута не хочешь? А то могу! Ишь ты, удумала: в город! Эко тебя растащило, кума! Не смеешься ли? Да тебя вон за той же горою волки порвут!

Смутно вспомнив белую волчицу с голубыми глазами, Злата вдруг чему-то улыбнулась.

– Ну и что, что волки?

– Дура, вот что!! – теряя терпение, рявкнул Милентий Аристархович в сердцах и, отвернувшись, плюнул на снег. – Если ты не об себе – об ребятишках вон подумай! Мама называется: хвост трубой – и пошла...

Приподнимая верхнюю губу – словно бы оскаливаясь – Злата выдохнула с обидой в голосе:

– А обо мне подумал кто-нибудь?

– Подумал!.. Мы тут – за околицей и черт-те где – крутимся который час по твоей милости! И ты мне зубы не показывай, кума! С тобою что случится, так мне же Емельян потом свернет башку с плеча. Скажет, куда смотрел, старый козел? Он за серебряный топорик ещё спросит с вас... да и с меня... Так что не перечь – иди к саням!

Милентий Аристархович, не дожидаясь согласия, схватил ее за руку и стиснул так, что из калины сок на пальцы побежал. И ягода, обрываясь, покатилась под ноги... И снова ей

почудились рубины драгоценные какие-то, проклятым старцем кинутые в снег...

Сердито сдвинув черные брови, на которых белели седые шерстинки, Злата с неприкрытой ненавистью глянула на старика. И неожиданно вырвала руку – с необыкновенной легкостью и силой, поразившей Милентия Аристарховича.

Отбежала в сторону... Он сделал шаг, сердясь, – хотел догнать.

Злата шагнула к проруби. Вздернула отчаянную голову.
– Если только тронете, – прошептала, задыхаясь гневом. – Если хоть пальцем тронете...

Она оскалилась, да так нехорошо, что Милентий Аристархович только теперь заметил: на чёрных бровях, на ресницах её сухими снежинками белела и дрожала волчья шерсть. И глядела она сквозь него какими-то пронзительными волчьими глазами. (Охотник, сколько раз он выходил на зверя – глаза в глаза, ему ли ошибиться). А потом в слепящем солнечном свете возле неё – возле кумы – Милентий Аристархович вдруг заметил что-то, похожее на тень большого зверя; красные круги от солнца показались кровью, стекающей с груди, развороченной выстрелом. «Господи! – крестясь, подумал он. – Всю ночь не спал, так невесть что приблизится...»

Прикрываясь ладонью от её испепеляющего взгляда и боясь пошевелиться, чтобы Злата не шагнула в прорубь, он зачастил:

– Не, не, не... Господь с тобой, кума! Ты что?.. Не, не, не... не трону! Ступай, куда хошь!

Сын осторожно взял её под руку. Молча повёл к саням.

Милентий Аристархович нагнулся, зачерпнул из проруби ладошкой: от волнения во рту пересохло.

В это время смиренная гнедая лошаденка старика, без привязи стоящая у берега, посмотрела в сторону проехавших саней с Артамоном и Златой. В нетерпении переступила с копыта на копыто, робко шагнула вперед, на всякий случай оглянувшись на хозяина. Не услышав окрика в свой адрес, лошадёнка уже смелее двинулась, а потом и вовсе перешла на рысь – по дороге в деревню.

Отойдя от проруби, Милентий Аристархович спохватился. Шумнуть хотел, но голос вдруг сорвался на тонкий мальчишеский визг – даже самому противно стало. Он сердито сплюнул и, набравши воздуха побольше, хрипловато рывкнул – теперь уже зверски.

Гнедая испугалась; высоко и лохмато встряхнула головой и, зафыркав, еще бойчее понеслась, кидая сани на поворотах и грозя перевернуть их.

Запыхиваясь, Милентий Аристархович кинулся бегом за своей строптивой лошаденкой, но через несколько метров споткнулся и, взмахнув руками, шмякнулся лицом в холодный мягкий сугроб, точно в кадку с квашениной: все глаза и уши залепило.

– Стой, кха-х... Я кому говорю?! Ну, утречко выдалось

нынче! – Он закашлялся от снега, поднимаясь, отирая щеки, брови и не соображая, куда теперь бежать: лошадь за пригорком скрылась.

На реке, точно смеясь над стариком, загоготали гуси, купаясь в молодом голубоватом снеговье. Эхо на том берегу зашумело в березняках и осинах...

5

Ах, святки! Пирогы сладки!.. Хороши когда-то были праздники, беспечны и светлы – от снега, от весёлых игрищ и потех!.. А теперь – без боли да без горечи невозможно святки вспоминать в просторном доме Чистяковых.

После той морозной да метельной ночи бедняжка Злата сильно простудилась и надолго слегла. Ребятишки попеременно поили мамку то горячим молоком, то чаем с малиной. Через день да каждый день кума приходила, какие-то тряпки мочила в столовом уксусе, потом выжимала и старательно обворачивала ступни до щиколоток – чтобы избавиться от жара в груди.

– Знахари, мать вашу... – ворчал Милентий Аристархович, крутившийся неподалёку. – Если жар – в груди, так на хрена же ноги обворачивать?

– Тебя не спросили.

– Вот то-то же, – продолжал ворчать старик. – Я понимаю, когда принимают вовнутрь, чтобы от жара в груди избавить-

ся...

– Кого тебе вовнутрь? Уксус?

– Да зачем же уксус? Там самогон остался.

Кума присматривалась.

– А ты, я вижу, принял? Маленько подлечился?

– А как же? В такой-то мороз...

– Ой, мороз, так мороз... – Кума качала головой, смотрела на окно, затянутое ледяной коростой. – Ты пошёл бы, ребятам помог по хозяйству управиться, а я уж тут сама...

Сильный жар не отпускал бедняжку Злату недели три. В горячечном бреду ей частенько виделся далёкий беловодский город. Белые большие колокольни плавали под небесами, маковки горели чистейшим золотом, колокола к заутрене зазвонисто звали... И выезжал навстречу ей – на резвой тройке в расписных санях – выезжал дорогой и ненаглядный Емельян Прокопович. Кони всё быстрее, быстрее гребли копытами по снегу – хлопья разлетались голубями... Розовощёкое, весёлое лицо Прокопыча наплывало, приближалось, только теперь его трудно было узнать; он богатый, как барин, беззаботный, счастливый... Заметив Злату, стоящую возле дороги, он попытался остановить ретивых лошадей, но бесполезно... Тройка так разогналась – вожжи рвёт из рук, швыряет бешеную пену с губ, хрипит, словно хохочет, и с ветерком, со свистом пролетает мимо, мимо...

Больше не увиделись они.

Емельян Прокопович на ярмарке неожиданно-негаданно разбогател и приключилась беда через его богатство. Откуда оно появилось? Кто гадал на святки, тому подсказала кофейная гуща, подсказали карты, воск, литой на воду.

Вот что во время тех гаданий прояснилось деревенским вещунам.

Злата – не в мать, не в отца, а в проезжего молодца – оказалась дочерью нашей беловодской королевы. Или какой-то родственницей приходилась ей. Вот почему Злата, деревенская вроде бы женщина, так заметно выделялась среди окрестных наших забабёх. Кровь у неё была звонкая, стать!.. Злые нечисти похитили девчонку в малолетстве и отдали своему наместнику на земле – Кикимордовичу. У того детишки не заводились; вот Кикимор яблоки-то и воровал с нашего Древа Жизни; за «дочку», стало быть, расплачивался, и за другие услуги нечистых сил, помогавших ему своё чёрное дело творить на земле.

Слуги нашей беловодской королевы осенью приехали на ярмарку; слово за слово, прознали про серебряный топорик; с Емельяном Прокоповичем познакомились, ну и...

Я точно-то не знаю, врать не буду. Тут уж говорят по-разному. Кто говорит, будто в гостях он был у королевы и полу-

чил гостинец. А кто гутарит, что она через этих слуг своих передала подарок Чистякову. Но то, что был подарок – это точно. Королевский был подарок. Ценный.

Емельян Прокопович повёз его домой – и закружила нечисть по тайге, почуяла в мешках с мукою сокровище богатство. Чистяков обманом улизнул от них и решил из этого подарка сделать клад, покуда нечисть не настигла и не прикарманила. Так, по крайней мере, семейное предание гласит.

А что дальше? Э-э, друг мой! Дальше – это совсем уж другая история. Пускай тебе расскажет кто-нибудь другой, а я человек небогатый, меня все клады стороной обходят. Я вон даже на святки слаще пирожка ничего не пробовал. Так что, извиняй... Посиди тут, возле самовара, побалуйся чайком, а пока дровишек принесу. Ух, и жмёт морозяка, растак его так! Но ничего, авось перезимуем возле вот этой русской печки. Да? Около неё зимою красота. Прямо-таки райское житьё.

Глава седьмая. Глубоко запечатанный клад. Фантазии на тему о сокровищах

*Твой отец по дружбе рассказал мне это: клад –
и клад немалый – схоронил он где-то.
Иван Суриков*

1

Дело было на Сретенье – к началу февраля, когда впервые за долгую серую зиму, успевшую всем надоесть и показаться бескрайней, небеса над тайгой удивительно обголубели.

Утром в морозной дали широко распласталась вишневая зорька – наподобие доброй улыбки. Облака, так долго стоявшие над хмурыми вершинами, словно приросли к ним навсегда или примерзли, – зашевелились. С боку на бок облака стали перекатываться под натиском тёплого дерзкого верховика – так тут называют юго-западный ветер, приносящий тепло. Тонкою надорванной берестой закруглились края и затеплились от лучей восходящего солнца. И вскоре облака запылали сверху донизу, как сухие скирды на лугу. Небеса на востоке, горы и даже снег на дне студеного провала – всё озарилось нежно-розовым сиянием и розовато-дымными тенями цвета спеющей арбузной мякоти.

Утро обещало сказочный денек.

В тайге над перевалом царил покой. Оттаявшая капля где-нибудь в глуши сорвётся с ветки, шлёпнет мокрыми губами – издалека можно услышать. Длинноногий заяц по снегу пробежит на том берегу или горноста́й коротконогий проплывёт по сугробам – всё слышать.

Но вскоре непонятный дальний-дальний звон занозил под горой тишину. Поначалу звон казался призрачным – так бывает в нагревающемся воздухе. Однако позднее звон тот превратился в смутно различимый голос колокольчика. А ещё позднее – на угорах и полянах – можно было разглядеть иноходью скачущую лошадь, сани с седоком, седым от инея.

Солнце к тому часу подтянулось над тайгой, на небо влезло – и айда светить напрапалую.

Дорога перед путником прояснилась. Алебастровые горы, белые деревья, кусты – всё приободрилось. Из глубины урманов незримыми ручьями текли через дорогу запахи подвяленного снега и отмякшей, слезу по коре потянувшей живицы.

Тревожный аромат звериного жилья иногда вставал вдруг на пути. Россыпи запутанных следов то и дело попадались на глаза в распадках. Иногда это были следы, густо или реденько расшитые кровавым бисером – следы расправы с жертвой. А иногда встречались мирные следы; на месте прокатившихся весёлых волчьих свадеб и любовных лисьих игрищ и забав, когда они, переполняя сердца почти что человеческими

чувствами, преображаются: поднимаясь на ноги и взявшись «за руки», танцуют милой парой на полянах и среди сверкающих ледяных кустов, ослеплённые ночным звериным солнышком – высокой чистою луной.

Серая в яблоках лошадь изредка фыркала, настороженно стригла ушами. Сквозь мерный, однообразный бой поддужного колокольчика слышалось надсадное дыхание животного: хлюпали оттаявшие ноздри, полчаса тому назад забитые стеклянистой пробкой куржака.

Чёткие тени в полдень, как сажей начерченные на снегу, упали внахлест на дорогу. Начинало припекать. На гладких просторных еланях уже невозможно было без прищура посмотреть на снег: слепил, щетинился яростным солнечным ежиком...

«Яблоки» на лошадиных боках задымились. И чуть заметно закурилась, подсыхая и солью разукрашиваясь потная шлея. Блестел, переливался мускулистый круп, словно тёмным атласом обтянутый.

2

В санях сидел ни кто иной, как мастер Емельян Прокопович. Ехал домой. Спешил.

Разморенный сказочной для этих дней теплыню, он растегнул полушубок и, стряхивая иней, откинул за спину плохо гнущийся ворот, широченный, как печной заслон.

Лицо у мастера – суровое, настороженное. Сквозь редкие волосы отпущенной недавно бороды проступали крутые, каменной тверди, скулы. Глаза – как трещины по мартовскому льду: узки и холодны; под ними течёт и мерцает зажатая лазурная вода, скрывающая таинственную жизнь на глубине.

«Нынче не зима, а лето в зимнем платье! – улыбнулся Чистяков и, глядя вдаль, ещё сильнее защурился. – Дома-то, наверно, и не ждут уже. Похоронили, небось...»

На кедровой вершине, ссутулившейся по-над дорогой, подтаял кусок заскорузлого снега, сорвался вдруг – сорокой скакнул под копыта.

Лошадь вскинула голову, захрапела и шарахнулась на обочину. Смятые подковами, затрещали под сугробом кустики. Встречная ветка с оттяжкой стеганула по лицу Емельяна Прокоповича.

– Да чтоб тебе!.. – ругнулся, торопливо дергая вожжину.

Потёр щеку и, вынув из бороды зелёные кедровые иголки, оглянулся. Полозья на дороге нарисовали крендель, серебром сияющий на солнце. Это напомнило серебряный топорик мастера, украденный кем-то на ярмарке. И он вздохнул, сурово хмурия брови. «Ничего, – подумал, – топорик должен домой вернуться, ежели только не догадаются на привязь посадить...»

Лошадь – большим фиолетовым глазом – виновато покосилась на хозяина и, стараясь угодить, побежала резвее.

Заметив у обочины старую сушину – дерево, убитое дав-

ней грозой, – Емельян Прокопович забеспокоился отчего-то.

Миновав сушину, остановился на росстани. Обойдя кругом повозки, сбрую поправил, хомут. Снял с дуги холодный литой колокольчик с надписью «Звону много – веселей дорога».

«Куда уж веселей, – подумал мимоходом. – Чуть живой остался. Не было забот – купила баба поросю, так и вот с этим королевским подарком...»

Железный болтливый язык напоследок глухо брякнул в кулаке и смолк: Емельян Прокопович спрятал колокольчик под сено в санях. Закурил торопливо. По сторонам глазами пострелял.

Вдоль берега Летунь-реки мощными атлантами стояли, поддерживая край небес, вековые кряжистые сосны, лиственницы, о которые затупится любое острие: кондовые стволы зачугунели.

За рекой неподалеку есть моховое болото. Веснами оттуда глухари слетаются на токовище, чтобы до кровянки драться за свою любовь и песнями захлебываться на ярко-малиновых протяжных зорях. Там, на Глухариных Посиделках – так называется в народе это место – имеется дупло. Хитрое такое, незаметное среди раскидистых ветвей. Ещё в далекой юности Чистяков наткнулся на него, когда от медведя пришлось тягу давать на дерево.

«А ежли в дупло положить? Нет, пожалуй, близко от дороги. И Посиделки эти – место слишком бойкое, охотники

бродят, – засомневался он. – Не надо рисковать...»

Сбоку мощных Глухариных Посиделок – тальники узорной красной ниткой испестрили берег, заваленный покатыми наплывами сугробов, прилизанных ветром. Большими красными углями боярышник горел на фоне белизны, а при взгляде на морозную калину – аж зубы заломило у Чистякова. Во рту возникла кислота и горечь, будто уже отведал этой ягоды...

В далёкой вышине над миром по-царски величавая гора Белуша как бы застыла между небом и землей, раздумывая, где ей лучше приютиться – на грешной земле или все-таки в родимом поднебесье? Зубчатая корона ледника запотела на солнце; сверкала, источая хрустальный жар.

И вдруг откуда-то нагнало воронья. Да столько много, что «корона» в небе стала гаснуть.

Косою чёрной тучей птицы плыли, снижаясь над берегом. Послышался хриловатый нарастающий карк – картавый, крахмально-скрипучий. Замелькали крестиками тени на снегу, то ныряя под обрыв, то часто прыгая по застругам.

Емельян Прокопович голову задрал. Шапка в снег свалилась, но не заметил – и без шапки хорошо сейчас.

«На весну потянуло, – отметил крестьянин, присматриваясь. – Чёрный ворон под облако вышел гулять. Вон как они забавляются! Мило!...»

Две птицы отбились от стаи, ускорив полет. Крупный ворон, самец, догнал свою подругу над рекой. С ходу грудью

подтолкнул под бок. Точно споткнувшись в полете, птица вертыхнулась через голову, расправила крылья и, восстановив равновесие, ворчливо, по-бабьи что-то прокричала, оборачиваясь.

Ворон догнал её. И опять легонько подтолкнул. Он заигрывал, манил подругу в поднебесье, укрытое бирюзовым трепетным туманом. Сильный встречный поток подхватил под крыло разыгравшихся птиц, властно поднял, а затем словно бы стал разлучать. Ворон влево кругами пошёл, а подруга – направо.

Легко и согласно птицы поднялись туда, где не меркнувшим светом пылают созвездья, сокрытые на день от глаз человека... Постояв на вышине воздушной горы, замерев с раскинутыми крыльями, они полюбовались открывшимся видом... И неожиданно ринулись оттуда – навстречу друг другу. Устремились – как две чёрных молнии!

Вот летят... и вот-вот расшибутся грудью о грудь!.. Всё ближе, ближе... И только в самый последний какой-то мельчайший момент птицы – с ювелирной точностью – разошлись, разминутись, едва не цепляя крыло за крыло...

И снова кругами, кругами поплыли, всё выше и выше поплыли в заманчивый зенит...

Глядя на это ребячество в небе, Чистяков забылся и губу окурком припалил. Чертыхнувшись, выплюнул окурочек и прикусил занывший край губы.

«Стою, ворон считаю, – рассердился мастер. – Дело ждёт,

а я... как дитяtko...»

И вдруг лошадиное ржание в тайге померещилось. Глаза Емельяна Прокоповича резко распахнулись, а дыхание – словно вовнутрь забилося от испуга. Торопливым шагом Чистяков направился к саням. Но спохватился: «Шапка! Ох ты, мать её!...»

Побежал за шапкой – схватил за ухо.

Безмятежно доселе дремавшая серая лошадь встрепенулась, поднимая голову, посмотрела за реку и, раздувая сырые ноздри, собралась ответно заржать. У Чистякова сердце ёкнуло от страха. Он живо замахнулся на животину и, сообразив, подскочил к ней, сунул шапку в морду и на минуту крепко запечатал белозубый лошадиный рот с малиновым жарким нутром. Пятясь и перхая, лошадь зверовато выкрутила тёмно-фиолетовое глазное яблоко, но хозяин жёстко, зло держал за недоуздок и необычным голосом предупредил: – Умри, скотина! Ти-ха! Чтоб ни звука!

Он запрыгнул в сани и поехал, то и дело оглядываясь. Отыскал пологий спуск через Летунь-реку. Ехать старался по чистому льду – следов не оставить.

В густом, стеной стоящем ельнике затормозил и разнуздал конягу. Привязав к лесине, машинально бросил под копыто охапку сена; согретое солнцем, оно источало давний запах покосного луга и подспудно как-то успокаивало.

Но тишина кругом казалась подозрительной.

Дятел сверху застучал, а мастеру почудился приглушен-

ный конский топот за рекой. В этом ельнике находилась старая «кузница» дятла. Куча сухих расклеванных еловых шишек темнела на снегу под комлем соседнего дерева. Но Чистяков подумал о шишкарях – может быть, они нашелушили? Подошёл, ногою тронул кучу, похожую на большого ежа... И успокоился только тогда, когда заметил «кузнеца» – большого пестрого дятла, прилетевшего с новой шишкой в клюве.

В саях Емельяна Прокоповича – несколько многопудовых мешков с мукою.

Ворочая груз, он добрался до заветного мешка, отмеченного секретным знаком, – чтобы с другими не спутать. Поставил его «на попа» и развязал сыромятный шнурок.

Коричневая широкая ладонь карасем нырнула в тёплую и мягкую глубину. Под рукой заволновалась пышная пыльца, защекотала ноздри. Емельян Прокопович скукожился и едва не чихнул – другой рукою быстро переносицу потёр. Затем лицо его от напряжения как бы замёрзло. И чем дольше он рылся в мешке, тем испуганней делался взгляд, словно говорящий: да это что такое, чёрт меня возьми? куда что подевалось?..

Но через минуту лицо Чистякова преобразилось. Шевельнулась робкая улыбка. Брови, стянутые узелком на переносице, широко распустились по лбу, а глаза восторженно светились: а-а, каналья! вот ты где скрываешься! напугал ты, брат, меня до смертушки!

Он извлек наружу старинную кубышку. Что-то в ней позванивало и пересыпалось, когда Чистяков осторожно отряхивал от муки глиняные выпуклые бока, украшенные то ли цветами, то ли какими-то загадочными знаками.

Засунув кубышку под тулуп, он забылся, довольный, и чихнул два раза кряду. «Будь здоров, Прокопыч! Теперь только и жить!» – пожелал он сам себе и, воровато озираясь, высморкался: нос мукой забило.

Собираясь куда-то идти, мастер посмотрел на лошадь и подумал, как бы она снова не предприняла попытку заржать – с неё это станется, если вдруг услышит брата своего, жеребчика, или сестру, кобылу. И тогда всё пропало – рассекретится это местечко.

Он постоял, соображая, что бы такое сделать...

«Голь, она всегда хитра на выдумку! – подумал он, ухмыляясь, потому что с этой кубышкой он был не голь, а почти что король. – Надо сделать ей намордник, чтобы не заржала, не дай бог!»

Придумка была простая, зато надёжная: Чистяков продел шнурок в колечко на узде, обмотал кругом храпа и закрепил за другое кольцо: толстогубый лошадиный рот оказался в надёжном замке.

«Правда, пожрать не придется тебе, – уходя, он посочувствовал коняге. – Ну да ладно, авось не исхудаешь, я недолго...»

Крепкий снеговой настил хорошо держал его, даже не похрустывал под ногами. Емельян Прокопыч оглянулся и, довольный, потопал, как по мрамору: никаких следов за ним не оставалось. Так что, если кто-нибудь и надумает по следу увязаться, – ничего здесь не выследит.

Версты через полторы перед ним открылась широкая излучина. Отвесные причудливые скалы нагромождены по-над рекой. Тёмно-красные, жёлто-розовые, чёрные, рыжие, обточенные ветром и дождями, расколотые вековым солнцем.

Глухое урочище это, известное в округе под названием Ревущие Быки, – самое трудное место на судоходном отрезке Летунь-реки.

Однажды в старину, рассказывают, баржа с быками тут разбилась. Десятки разномастных племенных, многопудовых, с летних выпасов до дому едущих быков, а с ними вместе и пастухи угодили на жуткую бойню – в перекаты и улова. Несчастные быки тонули долго – выносливые были. С мучительным рёвом и стоном долбили рогами прибрежный, стеною стоящий гранит, не подпускающий к спасительному берегу. Тайменя, как тесто, месили копытом в порогах; увечили друг дружку и путались в кишках. Вода горела кровью – как на закате. Одурелые, с надорванными глотками, быки из

последних сил вставали на дыбы и рушились на дно; пузырили реку, продолжая отчаянно реветь и звать на помощь даже под водой...

Словно вечное эхо погибших быков, начиная половодьем и кончая ледоставом, – над перекатами воздух сотрясается невообразимым диким ревом. Не то, что птицу, шум ветра, дерева или самый сильный человеческий крик – выстрела ружейного не слышать над ухом в этих гремучих местах.

Ревущие Быки за много-много верст предупреждают: не подходи! не лезь, бедовая головушка! забодаем! в щепки разнесем!..

И никто не подходил. Только плотогоны рисковали; мужики, в верховьях свалившие кондовую сосну или кедр, вязали плоты, вытёсывали длинные гибкие весла – пятиметровые потеси. «О, господи! – шептали. – Спаси и помоги!» И, перекрестившись на иконку Николы Угодника, прибитую на носу плота, отчаянные люди устремлялись по наклону исковерканного русла, как по ледяной горе. И чем дальше плот летел, тем неистовей была молитва, которую свистящим ветром срывало с губ – никто её не слышал, и никто не мог помочь... И многие из тех, кто не покорился непрекращаемому голосу природы, нашли свой последний приют возле вот этих грозных скал – на дне глубоких чёрных омутов.

В юности, когда кипела кровушка и шальную силу требовалось выплеснуть куда-то, как плещут кипятки на раскалённую, одурелым жаром пышущую каменку, – Емельян с пло-

тами не однажды хаживал мимо зубастых Ревущих Быков.

Ай, да весело было в ту пору! Накладно, да весело! Крепко сбитые грубые туши плотов иногда просто в щепку рубились на острых порогах. И от плотогонов только шапки оставались на камнях — как на могильных плитах. Много знакомых и немало друзей Чистякова схоронила тут свирепая Летушь. Даже братьев двух не пожалела: вон среди камней торчат подгнившие, позеленелые от времени и сырости кресты. Давно их ставил Чистяков. И подновлял когда-то. Но очень редко здесь приходится бывать — местечко неудобоходное, глухое.

Разумеется, не братьям поклониться он пришёл сегодня. От старых плотогонов мастер знал: за Ревущими Быками есть потайная пещера, один из многочисленных коридоров которой проходит под рекой. В той пещере будто бы клад какой-то вековой зарыт. Но никому он в руки не даётся, поскольку у входа и зимой, и летом сторожем сидит большой медведь — не подпускает. А у медведя, слышь-ка, вся пасть как будто в золотых зубах...

В общем, полные уши брехни натолкали про эти пещеры. Емельян от нечего делать слушал побаски и ни на копейку не верил, — только усмехался в глубине молодой неопытной души. Однако, братец ты мой, смех-то смехом, а шуба-то выходит — кверху мехом, как любил приговаривать тот старик-плотогон, что горазд был на выдумку про всевозможные клады.

Когда разбило плот в грозу и плотогонов точно водяные утянули за ноги в пучину — оказался Емельян совсем один в этих разбойных сумрачных местах, и настроение было такое, хоть самому утопись. Он побрёл по берегу, куда глаза глядели, и случайно увидел дыру — вход в пещеру. Емельян там благополучно схоронился от ливня с градом, всю ночь напролет колотившим тайгу — с кустов и деревьев драной листвою всю реку засыпало. И никакого, конечно, медведя в пещере не оказалось. И точно так же, видимо, и клада никакого нету. Наболтают люди — только слушай.

...Вспоминая об этом, Чистяков проворно шагнул по берегу. Озирался, огибая скалы. Рыжие, с кроваво-тёплыми отливами, они стояли над тайгой в хмуром и строгом величии, раскинув прохладные тени возле подножья.

На южном склоне каменной громады бледно-зелёной шерстью пошевеливался мох, трава-камнеломка. Снегирем посвистывали ветры в вышине, обрезаясь о краеугольные выступы. Далеко виднелся голый чистый лёд вдоль берега. Как в зеркале, опрокинуто в нём отражались древние очерки скал и размытая зелень деревьев, наполняющая лёд призрачным оттенком изумруда.

Странно! Скалы эти, вздыбленные к небу титанической мощью старинных вулканов, угнетали душу своим могуществом и многозначительным молчанием; давили, давая понять и ничтожество, и тленность человека перед бесконечностью веков.

И откуда-то – то ли от этих могучих скал, то ли ещё откуда – пришла тревога. Поначалу лёгкая, невнятная. А через несколько минут тревога разрослась; беспричинная, слепая, она вдруг овладела сердцем Чистякова. И когда из-за скалы вылетела серая неясность – она там, видно, отдыхала, эта ночная птица – Емельян Прокопович едва не вскрикнул, так испугался; неясность, на фоне солнца взмахнувшая крыльями, показалась человеком, который бросился на Чистякова.

– Да чтоб тебя... – прошептал он, вытирая моментально вспотевший лоб.

Стараясь больше не глядеть на исполинскую громаду скал, почти физически давивших на него, Чистяков торопливо двинулся по россыпи курумника – мелкого битого камня, за многие годы нападавшего с утесов. Эти кручи раскрошились не только под действием времени, но и люди руку приложили: взрывники расширили немного повороты бешеной реки – спрямили русло. А то ведь было время, когда Летушь-река в этом месте даже и не замерзала: всю зиму здесь парил и клокотал огромный котел...

4

Просторный вход в пещеру представлял собой разинутую пасть. Багровым языком распластался у входа объёмный валун, обсиженный птицами. Искривленное, без веток и сучков, сверху свисало дерево, – казалось кольцом в раздутой

от гнева красной бычиной ноздре.

Студеным колодезным воздухом веяло из глубины этой пасти.

Емельян Прокопович достал из-за пазухи заранее припасенную свечку – огарок. Перекрестился и, ещё раз на всякий случай оглянувшись, пригнулся и ступил в пещеру.

Неприятной сыростью, плесенью и гнилью ударило в лицо. Отчего-то зазвенело в одном ухе и зазуделось, точно комар туда влетел.

Высокий грот снижался с каждым шагом. Стены сужались по бокам, превращаясь в тугую и душную горловину. Солнечный свет за спиной убывал. И тоскливое какое-то предчувствие начинало подсасывать сердце.

Неожиданно под ногами брякнул камешек. Звук отозвался эхом в гулких сводах. И тотчас откуда-то сверху на Чистякова шарахнулся «крылатый чёрт с косматыми руками».

Емельян Прокопович отпрянул к стенке, ударившись затылком о гранит. В глазах потемнело от боли, но всё-таки успел заметить: летучая мышь промелькнула...

– Фу-у, проклятая, – шепнул, задирая голову и ощущая ломоту в затылке.

Сверху, под самым куполом пещеры, связками сухих банных веников висели десятки летучих мышей, находящихся в зимней спячке.

«Ладно, хоть одна слетела, – утешился Емельян Прокопович. – А если бы они все разом на меня нагрянули?»

Дальше каменистый пол пещеры скатывался вниз — под небольшим углом. Пройдя шагов десять, незадачливый кладоукрывать повернул налево, нащупал на скале свою какую-то затеску и, поскольку темень впереди ждала крошечная, — запалил свечной огарыш. Затрещал фитиль, разбрызгивая жирную дымящую пыль. Синевато-желтый накопник разгоравшегося пламени то заострялся, поднимаясь кверху и грозя кольнуть щеку, то вдруг валился набок под воздействием воздушных скрытых струй. Чтобы скорее освоиться, мастер поднял огарыш над головой. Шафрановые блики затрепетали бабочками на сырых камнях. Задержались тени за выступами и в пустотах, точно кто-то бесшумными чёрными лапами норовил поймать танцующую огненную «бабочку».

Среди мёртвой тишины отчетливо слышалось где-то наверху: звонко, размеренно камень точит вода. Отвесная капля дробинкой сверкнула во мгле; за ней вторая кинулась вдогонку, третья... Расколотою дружкой хрусталя внизу мерцал сиреневый ледок и, чтобы не споткнуться, Чистяков обошел стороной это место — и неожиданно оказался в тупике. По его соображениям этот сухой карман должен был находиться не здесь. Что за оказия?!

Грубый каменный лик на стене тупика начертан был самой природой. Как бы начат, но не завершен: нос, глаза и губы сделаны, а всё оставлено — вчерне... Озарённый пламенем свечи, странный лик заметно оживился. Нахмурил ши-

рокий лоб, изумленно брови приподнял и губами так зашевелил, словно хотел сказать: кто это, дескать, и зачем тревожит меня втуне?

Кровь по жилам быстрее побежала; не по себе немножко сделалось от этой встречи. Емельян Прокопович отодвинул пламя от стены. Капли горячего стеарина поплыли со свечки, застывая на пальцах, как возгри. Он осторожно приставил свою драгоценную ношу к стене, освободившейся рукою перенял огарок и вытер пальцы о полушубок. Постоял, припоминая, как надо идти. Сделав несколько шагов в другую сторону, Чистяков свернул в просторный коридор и обрадовался: точно, сюда надо было сворачивать.

И вдруг он явственно услышал за спиною странный звон, похожий... как будто кто-то взял кувшин и уронил в потемках – вот на что это было похоже.

Торопясь, кладоукрыватель неловко повернулся. Локоть сильно стукнулся о каменный выступ; свечку словно кто-то вырвал из руки – метнулась огненным клочком около лица и, ослепив, погасла...

И человек остался в могильной темени!

В первую минуту им овладело такое отчаянье – головою об стенку хотел удариться. Он безвольно руки уронил, а затем осатанело схватил себя за бороду и потянул, мучительно мыча и раскачиваясь на широко расставленных ногах. А затем он быстро опустился на кукорачки и поискал огарок... Ладони покусывал шершавый зубастый ледок, острые камни

врезались в коленки. Он кружил на месте и, не находя свечу, скулил побитой собачонкой... Понемногу отползая неизвестно куда, Чистяков поднялся и, пытаясь выпрямиться в рост, неожиданно шаркнул шапкой в потолок пещеры – так низко.

Емельян Прокопович прислушался. Ухо уловило в тишине широкое и неумолчное пение воды над головой... «Река?!» – не сразу понял он. И обомлел.

Река текла над ним!

И губы затряслись, и руки заходили ходуном.

– Господи... Отче наш, иже еси на небеси... да святится имя твое... – Представляя себя заживо замурованным под толщей камня и воды, он скороговоркой прочитал молитву и в ту же минуту – словно бог услышал – схватился рукой за карман. – Разиня! Да вот же спички-то...

Трясущимися пальцами он вынул коробок, запалил серянку и пошёл по направлению к своей оставленной кубышке. И остановился. Увидел в потёмках пещеры... пристальный чей-то зрачок. «Ну, батюшки! Час от часу не легче!»

Красновато-кровавый круглый крупный глаз, по мере приближения к нему, разгорался, лучи испускал. Глядя на эту загадку, Емельян Прокопович перестал дышать. И волосы под шапкой заворошились. Он к стене прижался, готовый крикнуть или побежать... И так прошло минуты две, покуда Чистяков не опомнился и не осмелел. Боком-боком приблизился он. Пригляделся. И руку осторожно протянул, боясь

ожога либо укуса.

«Ба! Чудеса какие! – изумился. – Это камешек пылает! Во напугал мужика, чуть штаны не намокли!»

А случилось вот что. Кубышка, второпях поставленная на сырые камни у стены, соскользнула, крышка слетела с неё и драгоценности, зловеще позванивая, просыпались...

И теперь на ладонке у него лежал и горел впотьмах, как дьявольское око, красный крупный яхонт, больше известный как рубин.

Спрятав камешек за пазуху и посмеявшись над собой, Емельян Прокопович снова чиркнул спичкой, отыскал огарок и собрал все драгоценности. И, пройдя ещё немного вглубь сухой пещеры, он схоронил кубышку в недоступной каменной кладовке – маленькую нишу привалил пудовою плитой. Постоял, перекрестился на плиту:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговариваю я свою поклажу, в слова тайные одеваю, в замки Божьи закрываю. Во един ключ, во един замок, чтобы вор-злодей взять мой клад не смог!..

Издёрганный, утомлённый – словно на нём пахали целый день – кладоукрыватель хотел покинуть подземелье тою же самой дорогой, как пришел, но, подчиняясь голосу рассудка, решил не рисковать и не испытывать судьбу. Ведь кто-то мог – чем чёрт не шутит! – следом увязаться, поджидать у пещеры. Мысль о том, что кто-то преследует мастера, не давала ему покоя всю долгую дорогу из города...

И тогда он поступил, как задумано было заранее. По другому, запасному ходу, Емельян Прокопович выбрался на волю.

Этот ход – второй рукав пещеры, находившейся под рекой, привёл Чистякова на противоположный берег Летуни.

5

Солнце, по-прежнему ярко горящее наверху, после пещерной темноты и промозглости показалось потрясающе сильным. Резануло – как бритвой – отвесным лучом из-за ближайшей скалы и заставило отвернуться. Прикрывая глаза, кладоукрывать засмеялся без причины. Легко теперь было на сердце и весело: сокровище в надёжном месте.

Он разинул рот и жадно, как из ковшика, хлебнул бодрящий воздух, круто и вкусно заваренный ароматом горьковатой отмякшей коры ближайшего осинника, маслянисто мерцающей хвои и волглого снега, осахарившего кедры, укрывающие нижними лапами небольшой квадратный лаз в пещеру.

Пряные запахи в нос шибанули; Емельян Прокопович напыжился и чихнул от души. На плечи с кедра сахаринки полетели. И слезы накрутились на глаза.

«Тихо ты, стреляешь, как из пушки!» – одернул он себя, протирая мокрые веки.

Блаженный, расслабленный, крестом раскинув руки, Чи-

стяков широко зевнул и потянулся до частого, дробного хруста в костях и косточках. И спокойненько прошёл...

...рядом с медведем!

Чёрно-бурым валуном торчал топтыгин саженьях в десяти возле пещеры.

Это был медведь-сидун, который на зиму не делает берлоги, а зимует, сидя на земле. Нормальный топтыга обычно ложится где-нибудь под вывернутыми корнями дерева, под камнями или буреломами, а вот такие, ненормальные, редко встречаются. Крупный – килограмм на пятьсот – медведь-сидун в эти минуты мирно, крепко спал, наклонив к плечу косматую могучую башку. И что-то хорошее, доброе можно было сейчас углядеть на медвежьей расслабленной морде. Ему, наверно, снились аппетитные белые да сочные коренья, лапой развороченный кислый муравейник, дикие пчелы в дуплах и тягучий мед, стекающий с когтей и переполняющий пасть. Но стоило ему сейчас проснуться, продрать глазёнки и, вздымаясь на дыбы, взреветь сердитым басом, от которого лёд на реке расколется; стоило хотя бы коготком или зубком зацепить непрошеного гостя – ни пимов, ни тулупа не осталось бы от бедолаги.

Но медведь-сидун беспечно спал и временами даже как будто похрапывал.

А Чистяков не заметил опасности.

Спокойно, даже с улыбочкой он прошёл мимо зверя, и только что не хлопнул по плечу: здорово, дескать, Миша!..

Так, наверное, лунатик ночью идёт по карнизу высокого здания, улыбается чему-то своему, а если разбудить в эту минуту – в лепешку разобьется человек.

Уже отойдя от пещеры довольно-таки далеко, отрешившись от сказочных грез о богатстве, Емельян Прокопович остановился и, посмотрев назад, словно проснулся.

Моментально похолодел.

Отступая то задом, то боком, он зацепился за что-то ногою, упал и, косясь до ломоты в глазах, пополз на четвереньках, обдирая щеки о шиповник, стоящий на пути... Сердце в горле колотилось, не давая воздуху глотнуть.

Неподалёку из-под сугроба вдруг вылетел рябчик, спавший там вторые сутки, – фонтаном взорвавшийся снег брызнул в лицо Чистякова. Испуганно вскочив, он припустил широкими скачками, но, как всегда бывает в подобных случаях, быстрый бег представлялся ему страшно медленным, неуклюжим – будто пудовые гири привязаны к валенкам... Он задыхался и готов был зарыдать от своего бессилия... Под ногами трещали кусты, буреломы, валежник. Хрустели молодые пихты, сосенки ломались, кривые сучья хватали за растегнутый тулуп, и чудилось: медведь уже на пятки наступает! рвёт одежку!.. И приходилось улепетывать ещё скорее, оставляя на кустах и на сучьях кудряши овечьей шерсти, с мясом вырванные из тулупа.

Отбежав на безопасное расстояние, Чистяков, как пьяный, зашатался между сосен. Оглянулся, обнимая дерево,

чтобы не рухнуть от усталости. Надсаженное сердце дятлом колотилось в корявую кору и заходило до боли.

Зайчишка мимо трюхал – бесшумно и легко. Увидев человека, заяц мгновенно сделал скидку – прыгнул в сторону ельника. Столбиком сел и напрягся. Не обнаружив ничего опасного, косой обмяк и отвернулся. Длинные уши над ним надломились, когда он пошёл, и тряпками затрепыхались, ударяя зайца по спине.

Глядя на спокойную зверушку, кладоукрывать тоже успокоился и убедил себя, что никакой медведь за ним не гонится, и вообще... не показалось ли?

Он перекрестился. Дрожащей рукою зачерпнул из сугроба, пожевал как тесто пресный, вязкий снег, проглотил, и ещё сильнее захотелось пить – нутро горело пережитым страхом.

Стараясь попадать в дырки от своих прежних следов, минув знакомую «кузницу» пёстрого дятла, дробно колотившего очередную шишку в вышине, Емельян Прокопович пробрался через ельник – зелёные и ржавые иголки насыпались на шапку, на воротник.

Облегчённо вздыхая – наконец-то можно будет прилечь на сено и покимарить, – он раздвинул плотные ветки... И остолбенел...

Ни саней, ни лошади не видно!

Сначала он подумал, что просто-напросто вышел не в том месте – заблудился. А потом, когда приблизился, увидел:

у коновязи остался лишь куцый обрывок узды, болтающийся на ветру; клочья сена, втоптанные в снег, и подсохшая груда зеленоватых круглых конских яблок, частично расклеванных пичугами.

«Давно, стало быть, убежала, – определил Чистяков и покачал головою. – Да что же вы сегодня, черти, со мною делаете? То медведь, то эта паразитка... Какая вот шлея попала ей под хвост? – Он посмотрел по сторонам. Догадка обожгла. – А если... если не убежала? Если кто-нибудь её увел? О, господи, да нет!»

Емельян Прокопович припомнил дрожь, фырчанье лошади, когда только привязал её сюда и взялся потрошить мешок с мукою. Значит, она ещё тогда наверняка учуяла медведя. А позднее, когда ветер от пещеры сильнее потянул, – лошадь совсем очумела от страха, вон как ломанулась напрямки...

Он поспешил по блестящему санному следу. Продрался через мёрзлый можжевельник, изломанный копытами и полозом, спустился в небольшую логовину, осененную широкими тенями – солнечный свет уже сюда не попадал. Время – как-то странно быстро – уже клонилось к вечеру. На пригорке Чистяков отдышался и почувствовал: пятку натирает. Сел на пенек, разулся и прелую портянку принялся перематывать. Валенки дымился перед ним – как чайник.

«Да, неплохо бы чайку... и водки выпил бы стакан, – мимоходом помечтал Емельян Прокопович и сплюнул. – Ничего, всё будет скоро! И портянки бархатные заведу себе и ре-

бятишкам. И серебряный топорик – каждому!»

Переобувшись, он прошёл через поляну. Спугнул клестов, кормящихся шишками на елях. Ступая в крупный и глубокий лошажий след, кладоукрыватель спустился в распадок и едва не заорал от радости: «Вон она, родимая! Вон она, проклятая савраска!»

Груженные сани крепко заклинило между большими деревьями – только это и спасло от гибели; неподалеку был речной обрыв. Кобыла, чуя в трёх шагах перед собою губительную пустоту, дрожала каждою жилкой; постанывала, зажатая перекосившимися оглоблями.

Он с трудом распряг напуганную лошадь. В сторону отвёл, успокаивая рукою и голосом. Поправил поврежденную оглоблю и, скрипя зубами от натуги, сани вытянул из деревянной ловушки. Закурить собрался: давно уже хотелось, но...

Вдруг он увидел чей-то свежий след возле обрыва. Пригляделся. Обомлел. Человечий след был. Несомненно. Правда, у медведя он тоже – как человеческий. Но ведь не мог же тот медведь-сидун соскочить со своего насиженного места и тут пробежать. Когда бы он успел?

«А кто же тогда? – изумился мастер, протирая глаза и ощущая холодок между лопатками. – Я тут не ходил. А кто?..»

За спиной невдалеке раздался шорох. И в следующее мгновенье – словно ударили сзади...

Чистяков пошатнулся и, чтобы не упасть от страшно-

го толчка, шагнул к саням, сгибая задрожавшие колени. И услышал раскатившееся эхо выстрела. Но услышал плохо. Как через вату...

Повернувшись на звук, он глазами пошарил в расплывающихся деревьях, но не увидел стрелявшего...

Сначала боли не было, и Чистяков не мог сообразить: что с ним произошло. Хотел вдохнуть, но воздух не дался в гортань... Потом, запоздало, с губительной сладостью, спину и грудь охватило огнём.

Болезненно и вяло кашлянув, он обмяк. Опустился в розвальни. Под сердцем стало горячо и мокро. Пуля прошла на-вылет.

Емельян Прокопович откинулся в санях. Высоко над ним синело небо. Тёплое, просторное, зовущее. Не мигая, он смотрел на солнце. Открытый свет уже не страшен был: зрение начинало гаснуть потихоньку.

«Неужели всё? – утомленно пожалел. – Вот он, клад мой. Накудесил!..»

6

Окрестность, оглушенная выстрелом, настороженно при-молкла. Птица петь перестала, затаившись между веток. Трусоватый заяц-беляк «уронил душу в пятки», замерев под заснеженным кустиком на прибрежной опушке.

Кто-то уверенно шагал по снегу. Промороженная корка

проламывалась громко, хрустко.

Двое подошли к саням. Остановились, глядя на распростёртую, недвижимую фигуру Чистякова.

– Ну и что? Готов? – спросил один.

– Спекся, будь спокоен! Ха-ха. Как это он говорил? Мастер знает, где поставить точку? Да? Видишь, какую хорошую точку я смог поставить, прямо в се...

– Хватит болтать! – одёрнул старший. – Обыскивай. Смотри ладом за пазухой!

Чья-то холодная лапа, воняющая пороховой гарью, в самое сердце, кажется, полезла.

– За пазухой один какой-то камешек и всё!

– Не может быть, чтобы один... Смотри путём!

Младший заворчал:

– Смотрю, да больше нету. Клад! Поди, наврали?

– Дьявольщина! Как же так? Куда же он запрятал?

– А вот мешки! Может, в мешках?

– Наверно. Дай-ка нож!

Затрещала грубая распоротая мешковина. Беззвучно, мягко под ноги разбойникам посыпалась мука... По ней топтались, торопя друг друга, нервничая.

– Разгребай аккуратно! Кидаешь, как пёс...

– Хорошая мучица. Бархатный размол.

– Как же! Старался, кормилец, старался...

– А на пульку нарвался... Ха-ха!

– Нишкни! – опять одёрнул старший. – Чего ты ржешь,

как сивый мерин?.. Ну?.. Чо там, окромя мучицы?

– Да нету ни хрена!

– Не может быть! Кикимор не станет врать! Ищи, братан! Ищи, Панок!

И снова затрещал мешок под лезвием ножа.

– На, смотри, коль не веришь, – сердито сказал Панок. – Пусто! Только зазря мучицу рассыпаем. Её сейчас продать – дороже клада...

– Не скули. А где же он спрятал, гад?

– А ты спроси. Гляди, он ещё дышит.

– Ладно, пошути мне! Связался я с тобою, с дураком! – ба-совито выругался старший. – Говорил же: не надо под сердце лупить. Был бы живой сейчас, так мы бы выпытали бы, где он затырил...

– Что теперь толковать? Пулю назад не воротишь.

– То-то и оно, Панок. Ты бы раньше об этом подумал. – Старший вздохнул и сплюнул. – А ловко ты его подсёк. Ты начал, ты и доводи работу до конца. Волоки его к обрыву – сбрасывай.

– А лошадь с санями куда?

– Под мунда... – Старший матюкнулся. – Лошадь в вхо стреляй. Тоже свалим в обрыв. До весны никто тут не появится, а потом половодье следы подотрет. Шито-крыто всё будет, братан, не бойсь.

– А сани?.. Тоже в ухо стрелять?

– Ты не скалься! – гневно прикрикнул старший. – А то как

врежу по зубам! Ты не его убил, дурак! Ты клад убил! Кто нам расскажет, где он закопал?

Разбойники немного помолчали. Подумали.

– Петюня Чистоплюйцев! Вот кто нам скажет! А? – неожиданно воскликнул младший. – Тот проныра знает всё на свете. Скажем, это... закопали, а где – забыли. Помоги, мол...

– Держи карман шире. Так он тебе и поверил. Он только прикидывается тупым, а на самом деле – умнее многих.

И опять помолчали.

– Афонька, – тихо сказал младший, – а ты видел у Петюни фамильный самородок? Вот такое золотище! Больше мово кулака! За пазухой таскает. Не вру, ей-богу!

– Будет он тебе за пазухой таскать эдакое богатство... Ладно, хватит языком молотить. Иди, стреляй кобылу!

– Не ори. Её сначала надо к обрыву подвести, а уж потом... А дохлую тащить – пупок развяжется.

– Соображаешь, когда захочешь, – похвалил Афонька. – Что? Не идёт, паскуда? Чует смертушку. погоди, я сейчас подмогу.

Захрустела кедровая ветка, сломалась. Послышались хлопки по лошажьим ляжкам, по крупу.

– Пошла, пошла, скотина! Я из тебя повыколочу пыль!

Красноватый морок дрожал перед глазами, когда Емельян Прокопович с трудом поднял ресницы. Потом глаза окрепли, но ненадолго. Синий кусок небосвода, сосняки над обрывом, снега – всё расплывалось перед мутным слабеющим взором.

Проморгавшись, он увидел зелёную былинку и луговой засохший бледно-розовый цветок над головой. Сено в розвальнях запахло вдруг необычайно крепко, по-летнему. Закружилась голова и из последних сил заволновалось сердце. И всколыхнулись в глубине души воспоминания. Летние угарные покосы; молодые, немятые, сине-зеленые в вечерних сумерках стога. Свечевые белоствольные березы на краю поляны, прячущей малиновый закат. Тихая пустынная дорога. И среди покосов по дороге женщина идёт – вся в белом! – с железною сверкающей косою на плече. А навстречу ей, как будто к матери, из лугов торопится мальчишка, лицом очень похожий на Чистякова Емельку...

«Смерть, – подумал он. – Смерть!.. Или Волхитка идёт? Или Богоматерь Беловодская за моею грешною душой?..»

Последним утухающим сознанием Емельян Прокопович воспринял тоскливое, жалобное ржание в морозном воздухе и сухой короткий выстрел, расколовший мирозданье.

Сознание пропало, но в следующий миг мастер увидел землю с высоты: увидел сани и своё безжизненное тело на

санях; серебряно сверкающую нитку зимника, натянутую с берега на берег; потом увидел облака над перевалом, ледяные пики беловодских гор; потом Земля представилась величиной в орех и пропала где-то в безбрежной синеве...

8

Два этих разбойника с большой дороги – братья. Старший, наиболее отчаянный – Афанасий, Афоня или Ахламоня, так его прозвали. А младший, трусоватый – Панкрат или Панок. Это были родственники треклятого Кикимора Кикиморовича.

Несколько дней, пока снежок не потрусил, они старательно бродили по следам Чистякова. Как-то разнюхали дорогу на Ревущие Быки, заглянули в пещеру, но не сумели что-либо сыскать: слишком глубоко был запечатан клад.

– Он, конечно, на него наложил заклятие, – сказал Панок. – Чёрта с два доберёмся.

– Ключ-траву найдём, так доберёмся, – уверенно ответил Ахламоня. – А пока поехали...

В беловодском городке кладоискатели продали крупную горошину красного яхонта, поделили денежку и решили дожидаться лета. В ночь на Ивана Купалу надо будет в таёжной глухомани отыскать волшебную ключ-траву и с нею забраться в пещеру. Ключ-трава любыеклады распечатает в земле и под водою, это знает каждый на нашей беловодской сторо-

не. Только очень трудно тот ключ обнаружить в тайге. А ещё труднее будет унести: нечисть непременно подкараулит. Но уж если посчастливится кому, тот станет жить, как говорили деды на Руси, – по колено в золоте, по локоть в серебре.

Именно так мечтали братья жить.

Только у Панкрата, младшего, «дыра в горсти», что ни найдет – потеряет. А старший, Ахламоня, многого мог бы добиться в жизни: крепкая хватка, смекалка и целеустремленная душа.

Разбогатеть хотел Афоня-Ахламоня, мечтал стать хорошим пузатым купцом. В Китай ходить с товарами по тракту, в Персию, Индию... А что? Не боги горшки обжигают. Почему бы и нет? Может быть, даже он где-нибудь там, за горами, за морем купит себе жену-персиянку (Ахламоня знал подобных обладателей и завидовал им нескончаемой завистью).

Мало того! Мечтал Ахламоня корабль купить. Настоящий, огромный. Бригантину или, чёрт их знает, как их там зовут – корвет какой-нибудь, или какого-нибудь «летучего голодранца», так он шутил. Но шутки шутками, а он мечтал всерьёз. Хотел иметь свою законную посудину. Своих головорезов – отчаянную, дерзкую команду, которая будет готова за своего хозяина «мачты грызть и жевать паруса», коль прикажут. Полные трюмы всякого добра будут у него. Оружия полно – на всякий случай. Гуляй, братва! Плыви на все четыре стороны! Стой, Афанасий Батькович, на капитанском мостике, покуривай трубку в виде человеческого черепа, над

которым выются волосья дыма. А рядом с тобой – персиянка, вино и виноград на бриллиантовом подносе, и говорящий какой-нибудь попугайчик, расфуфыренный как семицветная радуга... А почему бы и нет?!

Всякий раз, бывая в беловодском городке, Ахламоня приходил на пристань, построенную из вековечных лиственниц, которые в воде становятся крепче железа. На пристани – таинственная жизнь, овеянная ветром великих странствий, опасностей и приключений. Здесь можно услышать говор на любых заморских языках. Ахламоня часами шатался по пристани, иногда сидел на деревянной какой-нибудь тумбе или чугунной кнехте, на которую калачами были намотаны канаты, державшие корабль на привязи. Глаза его скользили по названиям судов, по мачтам, по флагам. Огонёк азарта вспыхивал в зрачках отчаянного Ахламони – мечтал, прикидывал, какой из этих кораблей он бы купил себе, если бы карманы были набиты золотом.

Время от времени, жутковато поскрипывая вёслами, в бухту заворачивала какая-нибудь тёмная угрюмая галера под флагами каких-нибудь рыцарей Мальтийского ордена. И Ахламоня отчего-то вздрагивал, как может вздрагивать только человек с нечистой совестью. Отворачиваясь от галеры, Ахламоня покидал причалы и невольно думал: мечта его может осуществиться, только шиворот-навыворот. Будет «свой» корабль у него. Однажды поймают, в железо оденут, обуют – и пойдёт он по морям и океанам в компании разне-

счастливых этих «рыцарей» – галерников.

Однако получилось по-другому. Не он пошёл к галерникам, а наоборот: галерник сам к нему явился – как в страшном сне.

Глава восьмая. Гроза на галерах. Мемуары матроса

*Мы все галерники, ладони жжёт весло
И весело наигрывает флейта!..
Анатолий Корчуганов*

1

В сказочную дымку, в лазоревый туман ушли и уже не вернутся те времена, когда из океанов и морей в нашу бухту на Летунь-реке, в наш беловодский захолустный городок – это теперь захолустный – спешили корабли из самых разных, самых дальних стран. «Все флаги в гости будут к нам...» – это ведь именно к нам. Про нас это написано, ей-богу. Это здесь у нас тогда вся радуга цвела – из животрепещущих флагов. Царские и королевские, гражданские и военные; с жёлтыми и синими крестами, с ярким шелковым солнцем, с белоснежными звёздами и серебряным месяцем... Голубые, красные и белые – всякие разные флаги и вымпелы полоскал тут безмятежный тёплый бриз. И встречался даже тут Весёлый Рождер, веселей которого не было на флоте – пиратский чёрный флаг с человеческим черепом с перекрещенными костями. И такие гости были, что уж тут скрывать, гости неждан-

ные, гости незваные, они заходили сюда только в крайнем случае, когда сильно пострадали во время шторма. И многовесёлную мрачную галеру с каторжанами, прикованными к вёслам, тоже можно было встретить иногда возле этих берегов – галеру под флагом воинственных рыцарей Мальтийского ордена. И трёхмачтовый корвет с пороховыми грузами в трюмах ворочал беловодскую волну. Наш вольный ветер косыми парусами ловила бригантина с деревянной резной девкою-русалкой на носу, под бушпритом. Грозный многопушечный фрегат горой возвышался за островом в голубой лагуне, чинил борта, раздолбленные пулями и раскуроченные вражеским ядром. На тиховодах качался, подремывал смиренный пакетбот, шедший куда-то в Московию, но врасплох настигнутый свирепым штормом и в лоскуты порастрепавший паруса над морем...

Славная была армада. Знатная. Эх! Вода ей пухом!

Уплыли корабли в небытиё. Пришвартовались к мемуарам и всяким разным воспоминаниям, которые после стаканчика рома так хорошо рисуются перед глазами; ведь неспроста же ром считается, или считался когда-то, напитком не только моряков, но и писателей. Вот этот ром, однако, и подтолкнул меня маленечко того... повспоминать, заняться мемуаристикой.

И вот сейчас я вижу, как никогда, – ясно, отчётливо – как будто сквозь магический кристалл мне открываются вековечные дали, где бродил не только я, но и мои друзья, и деды

наши, мореходы, и даже прадеды; не все они землю пахали, кто-то пахал и моря.

2

Беловодская бухта — уютная, горами хорошо отгородившаяся от сильного ветра, ломающего крылья на подлёте; ветер скулит в деревьях, посвистывает в гранитных скалах, на одной из которых притулилось нечто вроде маяка, малиново мигающего впотьмах.

Иные корабли кидали якоря на середине беловодской бухты, на рейде. Иные швартовались — под загрузку и разгрузку — у причальной листовенничной стенки.

Моряки, дружно таская поклажу на крепких широких плечах — из трюма или в трюм, — по пояс обнаженные, до черноты загорелые, обливались потом и пыхтели... А на верхнем мостике стоял, как Господь Бог, степенный важный капитан, облаченный в белоснежные одежды, с вертлявой обезьянкой на руках, с трубкою во рту, дымящей заморским запашистым табаком, либо крутым российским горлодёром, достающим до пяток... Волевая, угрюмая, ветрами всех морей и океанов обветренная рожа капитана не зря получила весёлое прозвище — Рожа Ветров. Суровый капитан был, но справедливый. Языком трепать помногу он не хотел и потому обзавёлся говорящим пёстрым попугаем, который помогал ему в работе...

Вот и сейчас, глядя на Рожу Ветров и замечая недовольство, попугай распоряжался капитанским голосом, сидя на фальшборте:

– Давай, давай! Р-р-работай! Черти полосатые!

Рожа Ветров ухмыльнулся, довольный.

– Правильно, правильно, Кока. А то совсем от рук отбились, дьяволы. Только ром да водку жрать на берегу!

– Разрази тебя р-р-р-ром! – заорал попугай.

Капитан засмеялся.

– Ром здесь такой, что может разразить... после второго или третьего стакана.

Над бухтой синело спокойное тёплое небо. Лениво плескались под берегом волны, чайки жалобно скрипели в предвечерней полумгле, как вечные весла галерников. На ближайших палубах раздавались громогласные команды на различных языках. Стремительные цепкие матросы вверх и вниз по вантам бегали так быстро, точно корабли у них горели и тонули, а не находились на мирном сонном рейде...

Как на всех причалах – пахло тут пенькой, смолистыми кручёными канатами, по которым ловко и скоро сновали крысы: то с корабля на землю, то, наоборот – по швартовым канатам, натянутым от судна к берегу.

Пороховая гарь откуда-то тянулась – голубовато-сизыми хвостами. И царапал когтем душу моряка чудесный запах винных погребков... Работа близилась к концу, и матросня всё чаще и всё нетерпеливей кидала взоры в сторону близ-

кого и соблазнительного берега.

Рожа Ветров, прекрасно знающий свою команду, ворчал, глядя сверху:

– Нечего коситься! Шевелись! Успеете, нажрётесь, черти полосатые! Да чтоб сегодня к сроку быть всем на борту!

– Нажр-р-ретесь! Нажр-р-ретесь! – вторил пёстрый какаду, слетая с клотика и усаживаясь возле капитана. – Чер-р-рти полосатые! Р-р-работай! Бом-брам-р-р-рея!..

За морями, за горами утопало солнце, хватаясь за соломинку жёлтого луча, ярко трепетавшего на далёкой глади. Затихали чайки, волны. И вот уже над клотиком стала пробиваться первая звезда.

Тихий плавный вечер обнимал округу.

В сиреновом остановившемся воздухе, в лёгком тумане на кораблях разгорались сторожевые огни. Вахтенные строго и исправно били склянки: каждые тридцать минут вахтенный матрос переворачивал песочные часы, а другой матрос в это мгновенье звонко звякал в корабельный колокол. В тихом воздухе далеко по-над водою расплывался грустный голос колокола, похожий на песню какой-то неведомой, из-за моря привезенной птицы, лишенной родного гнезда.

Хорошо такими вечерами быть вольноотпущенным на берег, уверенным в себе, красивым парнем, впервые ступающим на землю неизвестной беловодской стороны походкой «мирного завоевателя», идущего судьбе своей навстречу...

Я говорю об одном весёлом моряке, о человеке, который

скоро станет нам знаком. У него широкая душа: от плеча до плеча – как от Юга до Севера. Многих людей перевстречал я на своём веку, но редко загорался к ним такой любовью, чтобы запомнить их до гробовой доски. А этого друга запомнил так же хорошо, как запомнил ту историю в порту.

3

Что может быть прелестней и загадочней, и романтичней жизни портовых городов! Кто родился в таких городах, кто хоть однажды побывал в них, кто кинул в бухту серебро своих монет, чтобы вернуться, – эти люди легко и охотно подтвердят, что жизнь портовых мест сильно отличается от жизни сухопутной. Судьба и случай время от времени приносят к этим берегам чужие «острова» под парусами, неизведанные «материки» – со всех концов Земли. Всегда здесь неожиданное что-то, новое. Где гости, там и праздник, а в порту – гостей не впроворот.

В тот вечер, о каком пойдёт рассказ, по обыкновению на мостовых мелькали экипажи, доставляя нарядных ездовых по адресам. Кастаньеты с каравеллы шаловливо щелкали на площади, где собирались ротозеи, – посмотреть, послушать... Надрывала струны испанская весёлая гитара, из которой позже, в потасовке где-нибудь у кабака, могут сделать моряку «испанский галстук» – разбить гитару на башке и надеть на шею.

Женский жавороночий смех дрожал где-то во мгле за цветочною клумбой.

Нежный голосочек восклицал:

– Ву зэтэ донг францэ? Же ву фэр вотр конесанс, месье!

– Чего-чего? – зарокотал вдруг удивлённый бас.

– Вы француз, я говорю. Очень приятно, говорю, с вами познакомиться, господин.

– Дура, – ответил бас и хохотнул. – Я свой до нитки. Я родился тут, за огородами.

– Фу, какой вы, однако...

– А чего ты сразу нос воротишь?

Вдруг пистолетный выстрел бухнул в небо – воробьи и голуби взлетели с крыш. И раздался пьяный грубый хохот моряков, заставивший дрожать и осыпаться листья на деревьях у пивной.

Широкоплечий верзила стоял среди дороги. Пустой экипаж останавливал.

Кони от выстрела взвились в нескольких шагах от моряка. Того и гляди – замолотят копытами. Но стрелок не робкого десятка. Засунув пистолет за пояс, парень цапнул диковатую упряжку за узду, уgomонил и подошел к возничему. Тот встретил его грозным окриком:

– Пошто фулиганишь? Разбойник!

Хмельной широкоплечий матрос, куражась, ударил себя в грудь и попросил:

– Абориген, милашка! Покатай мою новую белую шляпу

на тройке! Уважь! Я тебе хорошо заплачу! У меня широкая душа: от плеча до плеча – как от Юга до Севера!

У обочины, в руках у смеющихся моряков, на широком расписном подносе лежала белоснежная широкополая шляпа.

Недовольно помолчав, обдумывая просьбу самодура, возникший вздохнул, набивая цену. Эх, тяжела, мол, работенка, а «плотют» за неё только гроши. Он кнутовищем почесал затылок и прищурился.

– Скоко дашь? – поинтересовался недоверчиво. – Деньги есть? Покажи. А то, может, давно просадил...

– Абориген, милашка! Денег – море! Во...

Возница посмотрел на море денег и обалдело покачал головой.

– Пираты, что ли? Нет? Тока не ври! Я с пиратами зарёкся ездить.

– Абориген! Милашка! – снова зарокотал широкоплечий. – Разуи глаза! Ну, какие мы тебе пираты? Мы твои, можно сказать, родные братья...

Кнутовищем почесав переносицу, возникший крякнул.

– Эх, ладно, по рукам! Давай задаток!

– Вот это хорошо! Давно бы так! – Широкоплечий повернулся, коротко, но громко свистнул своим дружкам. – Эй, братва! Грузите мою белую принцессу! Да в пыль не оброните! Зашибу!

Моряки, державшие расписной поднос, где красовалась

«белая принцесса», опять расхохотались.

– Гуляет, Ваня! На всю катушку!

– Осторожно! – рывкнул широкоплечий Ваня. – Да руками-то не лапай. Руки мыл? Когда? В прошлом году в прошлом порту?

Гнедые кони, перебирая передними копытами, пугливо косились на хмельных моряков. И возничий косился.

– Ну, всё, что ли? – хмуро спросил. – Можно ехать?

– Давай, абориген! – сказал широкоплечий и подмигнул. – Только чтобы с ветерком! Круг почёта по площади – и сюда! Давай, гони! Аллюром в три креста!

Он поднял оружие над головой и надавил курок. Пламя рыжим колосом хлестануло в сумрачный воздух и разлетелось по зернышку.

Оглушенные выстрелом, кони присели, выпучив глаза, зафыркали, заржали – и понесли во весь опор по мглистой мостовой, гремя подковами, звеня железными ободьями колёс. Две или три испуганные кошки переметнулись через дорогу. Собака в подворотне завывала. Какая-то дамочка взвизгнула, прижимаясь к забору. Степенный, сытый гражданин, нахмурившись, нехотя посторонился, пробормотав:

– Во, скаженный! Полетел, как на пожар!..

Близилась полночь. Просторно и ярко сияли над миром

безбрежные звезды. Отраженное небо двоилось, как в зеркале, дышало, покачиваясь на гладкой широкой воде за причалами. Соловей изредка посвистывал в посвежевших, рососоунизанных ветках прибрежного сада. Пахучие травы, ночные фиалки в предгорьях дурманом поили покой.

Силуэт какой-то легкой лодки смутно виднелся во мгле под берегом. Дуновение тёплого бриза доносило до берега воркование двух милых голубков.

– Барышня, какая у вас кожа! Чистый шёлк! Позвольте ручку вам поцеловать?

– Не надо... Вам только ручку дай – вы мигом и до ножки доберетесь. Вы, моряки, такие...

– И все-то вы, барышня, знаете. Уговорили. Молчу.

Поехали на бережок, будем слушать соловья под кустиком.

Хотите? Вот и отлично, барышня.

Через несколько минут лодка приблизилась к тёмно-фиолетовому саду. Но соловей неожиданно смолк, и в лодке зашмеялись.

– Вот стервец какой! Не уважает, да? – сказал моряк. – Жаль, я рогатку оставил в каюте, а то бы я заставил его петь... на два голоса!

Улицы ночного городка пустели понемногу, затихали. Последние матросы, пошатываясь, двигались в обнимку вниз по пыльным мостовым. Каблуки подковами «ковали» каменный бульвар, ведущий к пирсу: орехами сыпалось крепкое

эхо, дробилось в потёмках между стенами домов.

Лодка причалила к песчаному берегу. Опуская мокрые вёсла, глядя на падучую звезду, светло и стремительно перечеркнувшую полнеба над горами, моряк прислушался к дружному топоту. И прогудел сожаляющим басом:

– Наши идут! Эх, барышня! Так и не послушали мы соловья под кустиком! – Он помог девице выйти на берег. – Мне пора. Ничего не поделаешь: служба. А иначе боцман шкуру спустит – паруса латать!.. Ну что ж! Дозвольте я вас обниму напоследок!

В тишине смачно прозвучал прощальный поцелуй матроса. Нарушая лирическую картинку, рядом возникло и на весь ночной порт раскатилось очень знакомое, трёхэтажное:

– Да в гробу я видел этот городок! Тесно!

Тесно мне здесь, ребятишки! У меня широкая душа: от плеча до плеча – как от Юга до Севера!.. Рожа Ветров! Подымай паруса!

– Ваня! Ты? – громко и весело окликнул матрос, попрощавшийся с барышней.

– Я, Федя! Злой, как черт на раскаленной сковородке! Ах, чтобы вам и так, и сяк... Беловодье?! Смешно!

– Не ругайся. Тихо, Ваня. Люди спят.

– Не могу не ругаться! Иначе взорвусь! Матерков полон рот! – кричал Иван, размахивая помятой белой шляпой.

– А в чём дело, Ванечка?

– Хамы! – возмущался широкоплечий моряк. – В кабаке

принцессу мою белую обидели! Вот эту...

– Шляпу, что ли? Как её обидели?

– Уронили со стола. А потом какой-то хам даже наступил!

– Да что ты говоришь? И чем же дело кончилось?

– Я застрелил его!.. – грозно сказал моряк и, вздохнув, добавил: – Мысленно, конечно. Патроны кончились.

Федя засмеялся.

– Вот и хорошо, что грех не взял на душу.

– Да чего тут хорошего? – Широкоплечий переключился на другую тему. – Что за пиво, Федя, в этом скверном городишке? Ты не пробовал?

– Так я же год уже, как ни-ни-ни... Позабыл? Я в сухом доке стою.

– Ты счастливчик! А я страдаю... А то ли дело было в этом, как его... Буенос-Айросе, мать его... Помню, куда ни зайдешь – хоть залейся! А тут? Одно пиво осталось, и то дерьмо какое-то. Моча новорожденных поросят! А ещё говорят: «Беловодье! Беловодье!» А у самих и водки-то белой хрен найдешь. Пиво да проклятый ром, чтоб ему треснуть. Я в детстве обпился его, так теперь даже близко нюхать не могу – с души воротит. Нет, что ни говори, а скверный городишко, Федя. Бабы все какие-то... на одно лицо. Они мне, Федя, знаешь, кого напоминают? Нашу Кланьку.

– А это кто?

– Корова была у нас в детстве. Такая тоскливая Кланька была, что внутри у неё даже молоко скисалось. От тоски. Ей-

богу... Эх, городишко, якорь ему в зубы! Больше ноги здесь моей не будет! Дай-ка, Федя, прикурить, а то моя погасла!

– Кто-то, видно, ждёт, скушает, – заметил товарищ.

– Меня?.. Ну, рассмешил! Спасибо! Да ни одна собака на белом свете меня уже давным-давно не ждёт!

Спичка разгорелась в темноте. Лицо Ивана-моряка на секунду осветлилось: большие, но суровые, холодно сверкающие глаза, тугие скулы, волевой подбородок, выдающийся вперед. Серебристый блеск металла замечен в мочке. Иван был пожилой, матёрый: серьгу себе в ухо воткнуть по тем временам мог позволить только очень опытный моряк, обогнувший Огненную Землю. (А, кроме того, у старых моряков бытовало поверье, что серьги не дадут им утонуть; странное поверье, надо сказать; серьги-то железные да золотые – так и тянут на дно).

– Федя, ну-ка, чиркни спичкой, время погляжу, а то моя вахта с нуля.

– Моя – тоже. Сколько там натикало на твоей луковке?.. Ого! – спохватился Федя. – Пошли скорей! А то Рожа Ветров как надуется, так буря будет!

– Не волнуйся, братуха, часы мои чуть-чуть вперед бегут. Не опоздаем... – Широкоплечий Иван обнял приятеля. – Ну, Расскажи, какую ты молодку посадил нынче в лодку? Не стесняйся.

– Да так... – сказал Федя. – Покатал маленько, да и всё.

– И я маленько покатал свою принцессу. Но маленько, Фе-

дя, это не считается. Я хочу её вокруг Земли прокатить на белом пароходе.

– Ну, это ты загнул!

Обнимаясь, балагурия и покуривая, друзья приблизились к причалам, овеванным полночною приятною прохладой остывающего камня, воды и судов, казавшихся впотьмах особенно огромными, вонзившими острые мачты в самую звездную высь.

Пустые тесовые сходни, огражденные леерами, поскрипывали и чуть заметно елозили, находясь одним концом на берегу, другим – на корабле.

Погасив папиросы, моряки вознамерились шагнуть на сходни, забраться на родимую, хоть и многократно (многоматно!) клятую посудину. Там на вахту заступят они – привычную лямку свою потянут до утренней зорьки, а потом заснут мертвецки по каютам. Родное судно их убаюкает, как великовозрастных детей. И проснутся они уже где-нибудь в открытом море за тридевять земель от беловодской стороны, о которой, возможно, скитальцы больше и не вспомнят никогда: мало ли таких краев, если не лучше, на курсе повстречается в недалеком будущем?

Но судьба-злодейка распорядилась иначе.

Одному из этих двух бездомных матросов-альбатросов судьба решила сделать укорот – навсегда оставить на беловодских землях.

Галера погрузилась в короткий тяжкий сон.

Чёрный выпуклый борт с продолговатыми окошками для вёсел едва озарялся сторожевыми огнями. На сырой, только что продраенной палубе виднелись молчаливые сутулые фигуры охранников, сидящих на полубаке, – справляли поздний ужин: чавкали, хрустели огурцом, редисом; руками ломали жирные свиные ребра, зубами крошили кости беловодских кур.

Из тёмной глубины закрытых трюмов – через решётки – сочился прогорклый застарелый запах грязного белья, потных тел и всего того, что смутило бы любого постороннего на борту, но охранники давно уже приняхались и не замечали. Порой доносились до слуха глухая возня галерников, чей-нибудь кошмарный крик, сильный стон и звяканье заржавленных цепей.

В конце обильной трапезы самый глазастый и чуткий охранник что-то заметил во мраке. Резко отложив кусок еды, он встал, не выпуская ножа из руки. Давясь, кашлянул, проглатывая недожеванную пищу, и окликнул, ступая вперед:

– Эй, там! А ну, иди сюда!

Человек втихомолку двигался вдоль борта, пригибая голову и прячась за палубными надстройками. После крика он выпрямился и, уже не таясь, побежал на корму, вернее, пы-

тался бежать: полупудовые цепи забренчали на беглеце, мешая проворному ходу.

Сжимая рукоять ножа, рыча ругательства, охранник саженными скачками нагнал каторжанца. Вскинул сверкнувшее лезвие. Но галерник упредил его секундой раньше – завалил на палубу тугим ударом в дых.

С полубака бросились на помощь – топоча, запинаясь, наступая на пятки друг другу.

– Стой-ой! – гаркнуло сразу несколько глоток. – Ружьё! Стреляй! Скорее!

Беглец впопыхах кое-как перевесился через борт и, делая в воздухе сальто-мортале, расчетливо или случайно пролетел между опущенными гребями, о которые можно было покалечиться или разбиться.

Тело галерника шумно рухнуло около борта – круги с пузырями поплыли и мягко растаяли, слабо отражая сторожевой огонёк.

– Факел! Факел сюда! – закричали яростно, нетерпеливо. – Да стреляй, собака! Что ты спишь?!

– Не вякай под руку! Спокойно! Сейчас мы его оборотаем!

– Бей тревогу! Живо! А то уйдет!..

Бестолковый шум поднялся на галерах, в эту ночь стоявших рядом. Бестолковые приказы, ошалелая возня и беготня спросонок, перебранка. Всполошились не на шутку: редкий случай был; хотелось отличиться, поймать беглеца, да и просто посмотреть на обречённого – кто это рискнул и кто

отважился, кто размышлялся улизнуть с галеры? Не было такого и не будет. Поутру наглеца ждёт кровавая кара – на глазах у товарищей он подохнет громко, не скоро и мучительно; а потом его тело проваляется несколько суток под ногами галерников, – чтобы запомнили, крепко запомнили: пощады никому не вымолить! И никому отсюда не уйти!..

Десятки дымных факелов над палубами разрослись багряными искрящимися кустами, раздвигая темень и туман, копящийся рваными слоями низко над водой. Красноватыми палыми листьями беспокойно заблестели на волнах отраженные огни, стараясь дотянуться туда, где чернела голова галерника; точно ондатра плыла, поблёскивая мокрым мехом, то скрываясь под водой, то выныривая – всё дальше, дальше.

Галера – по правому борту – скоро ошетибилась железными иголками нацеленных стволов. Ружья с пистолетами забрежали вразнобой, часто и раскатисто. Гул покатился от берега к берегу и, отбиваясь от полночных скал, создавал иллюзию какой-то жуткой многопушечной пальбы, рукотворной грозы. Дым ходил густыми облаками, гром грохотал и молнии сверкали со всех сторон, свинцовым градом разрыхляя ночную гавань и поднимая по тревоге все корабли и весь портовый городок.

Первая пуля чмокнула рядом с обреченной головой, но всё же мимо. И вторая просвистела поблизости, зарываясь в воду за плечом...

Галерник торопливо оглянулся, нырнул... И в ту же секунду над скрывшейся макушкой взвились брызги, отброшенные свинцом.

– Подожди! Куда ты лепишь попусту, вахлак? Вон, вон, левее вынырнул, пали!

Свинец горстями в воду сыпался, но хитрый – или просто удачливый – каторжник, отдаваясь в темень, выныривал снова и снова где-нибудь в неожиданном месте, в стороне от суетливых пуль; хватал глоток спасительного воздуха и успевал укрыться под волною немного раньше, чем его замечали стрелки...

В трюмах проснулись невольники. Догадываясь о причине столь необычайного переполоха, галерники одобрительно и завистливо загудели, перебирая звенья заклятых цепей, и вдруг стали свои чувства выражать высокими взмахами гребей в полночном воздухе и тяжеловесным качанием галеры – с борта на борт.

На кораблях, стоящих по соседству с галерами, и на пирсе тоже забеспокоились.

– Каторжник сбежал! Надо ловить! – азартно встрепенулся Иван-моряк, любитель покатать свою белую шляпу.

– Тебе-то что? Пускай бежит! – отмахнулся друг. – Вольному воля, а пьяному рай!

Но Иван уже загорелся погоней. Он любил такие приключения, да и хмель подталкивал на ратный подвиг.

– Эй, держи, Федя, шляпу! Храни, как невесту!

– На вахту опоздаем, Иван! Кончай дурить!

– Не для себя стараюсь! Капитан простит!..

Матрос, недолго думая, – хороший и уверенный в себе пловец – не раздеваясь, прыгнул прямо с пирса и широкими саженями пустился вдогонку за галерником.

Поначалу он проплыл в густой тени от кораблей, а когда замаячил в кругу, озаряемом факелами, произошло непредвиденное.

Стрелки в суматохе и в сумраке не разобрались, кто там плывёт – и навели прицелы на новую мишень.

Увидев это и предчувствуя беду, Фёдор заметался по кромке причала. Белою шляпой сигналил стрелкам, кричал во всё горло, свистел, но бесполезно.

И поскольку моряк не таился от ружей – не в пример галернику – пуля-дура отыскала его быстро. Ключула куда-то под ребро...

Боль подстегнула Ивана, с невероятной силой вытолкнула из воды, как пробку. Но вслед за этим он отяжелел. Побледневший, слабо освещённый факелами, Иван что-то прокричал, заваливаясь на бок. Кулаком взмахнул, грозя стреляющим, вяло продвинулся ещё несколько метров – и стал тонуть.

– Слава тебе, господи! Управились! – загомонили возбужденные стрелки. – Кто, говоришь, пытался убежать? Ярыга?.. О-о! Волчара страшный был! А как это он умудрился от вес-

ла оторваться? Зубами, что ли, цепи перегрыз?

Разбуженный капитан, в команде которого состоял Иван-моряк, давненько находясь на мостике, слыша тревожные Федины возгласы, понял обстановку; и теперь, в минутной тишине, Рожа Ветров приложила к жестянке прохладного рупора.

– Галера! – гаркнул капитан. – Вы кого подстрелили, болваны?! Моего человека? Я шкуру спущу с вас! Дам боцманских капель в ноздрю!¹.

Из темноты, обжигаемой факелами, не сразу ответили.

– Ежли твой, так держи при себе! – огрызнулись охранники. – А чего он полез под ружжо?

Стало тихо. И вдруг попугай заорал высоко в темноте и в высоте на мачте:

– Галер-р-ра! Мать вашу! Р-а-р-работайте!.. Нажрётесь!.. Нажрьрьрьётесь! Собаки! Я из вас буду делать людей!

Капитанские угрозы – вместе с дурацким криком попугая – подействовали на стрелков. Две шлюпки немедленно отпочковались от галеры. Сидя и стоя в них, теряя равновесие и балансируя, плыли стрелки с оружием и факельщики. Смола шипела, капая, срываясь огненными струйками на воду и попадая на весла...

Они проворно подгрести к матросу. Ухватив за воротник и под руки, втащили в лодку смертельно отяжелевшее тело.

– Ну-ка, факел поближе сюда поднесите... Да, точно! С

¹ Дать боцманских капель – побить линьками/ Флотский жаргон/

бригантины морячок. Шляпу свою катал по городу сегодня.

– Откатался... Мертвый?

– Нет, шевелится как будто... Эй ты, рыба кит!

Иван открыл глаза. Превозмогая боль, зубами скрипнул:

– Придурки, мать вашу якорь! Вам только макароны про-
дывать на камбузе, а не стражу нести на галерах, – прошеп-
тал он посинелыми губами.

– Матерится? – улыбнулся в бороду пожилой охранник. –
Это хорошо. Значит, поживет ещё. Покатает шляпу.

Лодка развернулась и пошла к причалу, где стояла бри-
гантина.

Там Фёдор поджидал их и тоже матерился, не похуже ра-
неного друга. Сунув белую шляпу за пазуху, Фёдор кряк-
нул, поставив плечо, взвалил на себя мокрого, чугунно отя-
желевшего друга. Шатаясь, доволочся до родного борта, где
встретили матросы из команды. Занесли Ивана в кубрик и
затихли неподалеку – за переборкой.

Плох, очень плох был моряк. Белый, как парусина.

С мостика спустился капитан. Рожа его – постоянно гроз-
ная и неумолимая Рожа Ветров – в эти минуты была сама на
себя не похожа.

– За лекарем послали в город?

– Да, поджидаем. Только вот не знаю, – сказал помощ-
ник, – может, лучше попа, а не лекаря? Исповедаться надо
бы...

– А чего ему исповедоваться? – Фёдор вздохнул, белую

шляпу друга вынул из-за пазухи. – У него самый великий грех – шляпу вот эту принцессой считал и хотел покатать по земле... по морям...

Время тянулось мучительно медленно.

Уже светало – воздух засинел, когда карета прогремела в тишине туманного причала. Лекарь со своим небольшим чемоданчиком поднялся на борт. Это был чопорный и аккуратный молодой человек, взятый будто бы не из постели, а «среди шумного бала, случайно». Бегло осмотрев подстреленного моряка, приостановив кровотечение, лекарь поправил тоненькие усики, словно бы нарисованные угольком.

– Советую оставить на берегу, а иначе... – Он развёл руками, испятнанными кровью и неутешительно покачал головой. – Никакой гарантии. Подумайте. Если согласны, то можете воспользоваться моей повозкой.

– И думать нечего! – Рожа Ветров сердито запыхтел раскуренною трубкой; жалко было расставаться с этим надёжным и опытным парнем, но ничего не поделаешь. – Мне нужен моряк, а не покойник!

– Стало быть, грузите. Доставим в лазарет, а там уж... как богу угодно, – распоряжался лекарь, настороженно глядя на Ивана.

– Гр-р-рузите! – крикнул попугай, прилетевший на плечо капитана. – Гр-р-р-рузите! Черти полосатые! Собаки! Я из вас буду делать людей! Мне покойник не нужен!

Сознание время от времени возвращалось к моряку. Но

говорить он не мог, ослабленный потерей крови. Только глазами умолял: «Не увозите, братцы! Не увозите, Христа ради!..»

Лежа на твёрдой отъезжающей повозке, больно толкающей в раненый бок на поворотах и рытвинах, моряк неотступно, покорно и грустно провожал померкшими глазами окончность беловодской бухты. Последние мачты корвета и брига, покачиваясь, отплывали от него назад и в сторону. Тёмно-зелёные кипы деревьев, окруженных рассветной свежестью, временами нависали над дорогой, как предгрозовые облака, но тоже не задерживались – плыли в полумрак, едва-едва порозовевший на востоке. А на западе – в просторном чистом небе – отдельные звёзды ещё крупно сияли над ним. И обрывок Млечного Пути прозрачной простыней стелился. Потом сознание померкло, а потом – будто во сне – третьи петухи звенели где-то в переулках, куда заворачивал лекарь, то и дело сдерживая рвущихся коней. Потом была постель. Окно. Оно было какое-то огромное – так ему запомнилось. Облака запомнились, тёмно-кровавые с белыми полосками, как забинтованные. Голубизна небосвода запомнилась. Большая, глубокая голубизна горизонта проступала на восточной стороне дальних беловодских гор, тепло и розовато тронутых первоцветом встающей зари.

Иван остался жив, хотя, рассказывают, ему уже и гроб в столярке сколотили, и пригласили поутру попа – на исповедь. Он крови много потерял, да и пуля-дура зацепила за самое живое и дорогое. Надежды не было. И всё-таки он выжил. То ли характер сказался, то ли здоровье Ивана. А может, правду говорят, что Древо Жизни помогло? Яблоко сорвали, говорят, с Древа Жизни – в порядке исключения. Принесли больному – оклемался. Не знаю, врать не буду. Я лично в эти яблоки не шибко верю. Но, так или иначе, а только жив Иван остался, жив курилка!

Примерно через полмесяца лекарь принёс ему белую шляпу.

– Теперь можно смело катать! – сказал он, поправляя тонкие усики. – А я не верил, грешен.

– Да я и сам не верил. – Иван смахнул пылинку со своей «принцессы». – Ушла? Бригантина-то?

– Давно. И бригантина, и галера ушли. Теперь зима. Замерзла бухта. Пусто.

– А чертяка тот... – вспомнил Иван. – Рыцарь Мальтийского ордена... Ну, тот, из-за которого сыр-бор в ту ночь разгорелся... Где он?

Лекарь не понял.

– Какой такой рыцарь? А-а, этот... Галерник-то? Ну, я не

знаю. Разное болтают. Ты сам услышишь.

* * *

Ярыга – вот как звали беглеца, отчаянного парня с волчьими ухватками: шея плохо гнулась у него; грудь, спина и руки жутко волосатые, и ещё одна особенность была – сильно гнусавил, потому что «волчью пасть» имел.

Несмотря на тяжёлые цепи – выносливый был! – галерник в ту далёкую ночь всё-таки выплыл недалеко от какой-то деревни, выбрался на противоположный берег Летунь-реки. А там в это время готовился праздник – ночь на Ивана Купалу. А в эту ночь, как известно...

Да только всё это уму непостижимо...²

² Остальные мемуары матроса разъела морская вода.

Глава девятая. Ключ-травя. Наговоры ночных косарей

*Лазил черт за облаками, да оборвался.
Пословица*

1

Лето входило в разгар. День становился длиннее. В деревнях и в сёлах работы прибавилось – на полях, на огородах, на травокосах. Взрослый народ – не говоря о стариках – чуть не замертво падал, напластавшись за день. И только молодёжь – весёлая, неутомонная – с большим нетерпением дожидалась летних вечеров не затем, чтобы скорее брякнуться да спать, а затем, чтоб понарядней расфрантиться да на свиданку явиться. И так у них, у молодых, каждый божий вечер – будто праздник. А если уж действительно праздник намечался, да если ещё какой-нибудь великий, огнеликий – тут уж совсем шалела молодёжь; загодя готовилась к такому празднику.

Так было и теперь.

Солнце погасло на далёком берегу. Темень смолью смолила округу и неумолимо приближалась июньская ночь на Купалу.

В деревне – на улицах и по-над берегом – балалайка сыпала искромётным бисером, гармошка меха расправляла. Весёлые купальские огни надевали яркие рубахи и принимались плясать в полный рост; шафрановые отблески ходили по реке, малиновым да тёмно-красным петухом бегали по крышам, озаряли стёкла и стены ближайших домов и амбаров, и доставали до смуглых прибрежных берёз – листва на них как будто одевалась осенней позолотой и багрецой. Смех звенел со всех сторон, разноголосица, и бестолково, радостно лаяли собаки в переулках – шумные игрища катились по косограм...

И только два человека в тот вечер отбились от «опчества» – братья Кикиморовы.

Стараясь никому не попадаться на глаза, Афоня-Ахламоня и Панкрат-Панок, воровато пригибаясь, прошмыгнули за огородами, спустились к берегу и сели в обласок – лёгкую лодку, долблённую из цельного ствола сосны.

Заводь пахла сырыми осоками, камышом. Желтоватым цыплячьим пухом пошевеливался туман, тронутый всполохами дальнего огня; тени в таком тумане становятся объёмными, как бы живыми, и оттого особенно пугающими.

Весла воровато опустились за борта, негромко хлопнули, ныряя и расталкивая воду. Лодка скрылась во мгле, устремляясь к другому берегу...

Слабый свет луны, половины её, горбато выходящей из-за дальних гор, догнал скользящий обласок, серебряным волч-

ком завьюжил за кормой, обозначая силуэт сутулого, с длинными ручищами, гребца и широкоплечего напарника, внимательно смотрящего вперед.

– Левой табань, – подсказывал вперёдсмотрящий. – Тут потише, коряга торчит.

Лавируя, лодка свернула в старицу, на мелководе. Головки затонувших на ночь белых лилий мягко стучали в днище, попадали под весло, мешая ходу; стебли с тихим писком рвались и, взлетая на веслах, верёвками падали по сторонам. До сих пор молчащие уключины, смазанные загодя, заныли от нагрузки... Сминая кувшинки и ватные заросли тины, обласок продвинулся к невидимому берегу – носом торкнулся в чернозём.

Братья замерли.

С поднятых весел, стрекоча, стекали светлые капли бусинками... Рыба хвостом по воде шуранула: круги зашевелились, пошли, размножаясь по тёплой курье. Волна коснулась берега, зачмокала в траве и успокоилась... Лунные блики тонко распластались под бортом – лепестками распутившейся лилии.

Афоня-Ахламоня руку в воду погрузил – как в банку с парным молоком. Напился, глотая с ладони. Широко шагнул на травянистый берег. Синевато-белое отточенное лезвие литовки засверкало над плечом. Резко повернулся и поторопил:

– Шевелись!.. Кому сказал, Панок? Тетеря! Ты толи

спишь?

Младший брат поежился, волнуясь от предстоящего...

– Уф ты, – постучал зубами. – Что-то прохлад-ды-ды-но!

– Вода, как щёлок в бане! Уж куда прохладней! – Ахламоня усмехнулся, зная заячью натуру брата. – Сворачивай сюда. Будешь косить вот здесь, у трёх берез. Я – рядом, не дрейфь.

– С чего ты взял? – Панкрат-Панок захорохорился, решительно свернул в кусты, но под ногами треснула сухая ветка, пугая, и парень поспешил назад. – Темно как, чёрт.

Не продерешься...

– Ты поаккуратней с «чёртом», придержи язык, – одернул старший. – Темно ему! Луна уже вовсю вон разголилась!

– Так то – луна, вот кабы солнце.

– Ну, ты сказал, как в воду... перышко воткнул! Какой дурак под солнцем ищет ключ-траву?

Они помолчали, оглядывая выбранное место.

– Афоня, а почему ты решил, что на этой поляне?

– Чую, потому что!.. Мастер знает, где поставить золотую точку, как любил покойничек сказать. Не к ночи помянуто будет. Ну, все, хватит болтать. За дело.

– Тихо!.. Тс-с! – Панкрат-Панок присел и палец приложил к губам.

– Что?.. Что такое? – Афанасий недовольно сморщился.

– Звенит как будто... у воды... А? Нет?

– В ушах звенит кой у кого. От страха.

На сырых голубовато-чёрных луговинах, усеянных зернистым светом поднебесья, дрожащим среди стеблей, сонно позванивали два-три сверчка. Липкая испарина витала в воздухе: земля, отдыхая от летнего дневного зноя, дышала всей грудью.

Посредине покато́й поляны Афоня-Ахламоня остановился. По-крестьянски плюнул в руку, в другую. Пошуршал шершавыми ладонями, растирая плевки. «С богом!», – пожелал себе и, размахнувшись, приподнял косу. Отточенное лезвие с протяжным свистом зарылось в желто-бледную пену лугового клевера, марьянника, срезало красивую сарану... Здесь было много хорошей травы, годящейся на корм скоту, но ещё больше было всяческой дурнины: чёрного паслёна, белой чемерицы, ядовитого веха, крестовника, хвоща. Вот почему никто здесь годами не косил.

Поваленные стебли, исходящие соком, пуще прежнего запахли в чистом воздухе.

Находясь в отдалении, Панкрат-Панок послушал посвисты братовой косы, передёрнул плечами, зевая. «Пёс потянул меня ехать! Спал бы сейчас... Или кувыркался бы кругом костров с парнями да с девками. Ключ-трава какая-то! Брехня на постном масле! Если бы росла в наших краях такая травка – тут бы давно уже всё подчистую скосили...»

Однако же и он, перекрестившись, взялся за работу.

Войдя во вкус привычного, размашистого дела, легко и

даже весело сбривая травостой, Панок почти забыл, зачем приехал, и от сердца отлегло что-то неприятное, томительное. Косьба да косьба, что здесь такого, необыкновенного? Сейчас немного заготовим сена для коровки, а потом по домам... Все прекрасно, Панкратушка. Дыши полной грудью. Вон как вкусно пахнут цветочки под ногами. Вон как луна свой лобешник разлысила – горит светлее солнца. Хорошо. Красота.

Бодрил, бодрил себя Панкрат-Панок. Только бодрости хватило ненадолго.

Вдруг из-под косы фонтаном брызнула роса – испуганная птица, вылетая, ударила крыльями и заверещала, то ли пораненная, то ли испуганная. Парень содрогнулся – от головы до пятки – и, разжимая руки, чтобы защититься от «наваждения», выронил литовку и безвольно опустил на колени, а затем – на четвереньки.

Брат заметил это. Насторожился.

– Эй! – окликнул недоверчиво. – Что? Неужели нашёл?

– Здесь... под кустиком, – невнятно объяснил косарь, наклонился и нашарил рукою маленькое гнездо, хранящее тепло взлетевшей птицы; к трясущимся потным пальцам прилипали перо и пушинки.

– Покажи! – приближаясь, потребовал Афоня.

– Да нет, – оправдывался брат. – Птичка тут была... как порхнет... прямо в морду...

– Тетеря! – оглядываясь, шепотом ругнулся брат и при-

грозил: – Я тебе сделаю «птичку»!.. Время не ждёт, коси ладом!

– А чо я тебе? Я косю... Пластаю, аж рубаха мокрая.

– А со штанами все в порядке? Ну, коси, коси, шучу.

И опять в кругу раскидистых берёз, в тени и под луною на полянах засвистели, поблескивая, сырые литовки. Цикады – или кто там? – смолкали на пути косарей. Длинноногая зарянка – малиновка, мелькая белым брюхом, убегала по земле, за кустами пряталась, волнуя сердце печальной песней. Спящие цветы ложились и ложились веером под ноги. И всё гуще скапливался в воздухе, головы дурманил аромат порезанных и впопыхах растоптанных стеблей.

Бессонный коростель изредка поскрипывал возле воды, в стороне обласка, точно неведомой чьей-то рукою весло во-рошилось – так могло показаться.

И так на самом деле было в те минуты.

2

Ярыга – сбежавший галерник, опутанный цепями, проплыл вниз по течению реки. Удачно проплыл, ухватившись за какую-то лесину, оказавшуюся рядом с ним в воде.

Стараясь не греметь кандалами, галерник вышел на пологий берег. Посидел, загнанно дыша и посматривая по сторонам. (Шея плохо гнулась, поэтому он поворачивался всем корпусом). Где-то вдали, за деревьями, золотились крохот-

ные костры, люди шумели, песни пели – голоса по воде разлетались, как пташки.

Устало нагнувшись, Ярыга волосатой рукой какую-то жирную травку с тонким писком сорвал – жрать охота, спасу нет! – пожевал, скривившись, проглотил через силу и сплюнул.

Поначалу кругом было тихо, только река в тальниках гомонила, да козявки в траве потрескивали. А потом до галерника долетели такие протяжные посвисты, как будто бы воздух рубили острыми саблями.

Галерник поднялся, придерживая мокрые цепи. На несколько мгновений перестал дышать.

И вдруг он заметил неподалёку остроносый тёмный силуэт – лодка стояла в заводи.

Бесшумной тенью проскользнув по берегу, Ярыга постоял возле челнока, напряжённо прислушиваясь к шороху покосов на поляне и раздумывал: сразу эту «галеру» угнать, или сначала пойти, косарей тряхнуть. Может быть, у них найдётся что-нибудь пожрать? Может, помогут железо снять? Или лучше не показываться людям на глаза?

Луна, пройдя за облаками, прибавила свету, и галерник увидел какую-то плетёную корзину в затемнённом углу челнока. На лице галерника – среди щетины, шрамов и коросты – промелькнула кривая улыбка или нечто похожее на неё.

В корзине была кринка молока, шматок сала, яйца, хлеб.

Забывая о гремящих цепях, Ярыга, звероподобно рыча, набросился на пахучую, аппетитную пищу. «Волчья пасть» галерника – расщелины нёба – мешали не только нормально дышать, но и есть, вот почему Ярыга всегда старался как можно быстрее покончить с едой. Будучи даже не сильно голодным, он куски хватал, как зверь, глотая, плохо прожёванными. А если был голодный – как теперь – он вообще себя не контролировал; страшно смотреть.

Опустошив корзину, галерник опустился на карачки – подобрал хлебные крошки. Потом – утробно икая, словно загнанный жеребец, – он долго, жадно пил из реки.

3

За работой время пролетело незаметно. Приближалась полночь. Торжественно сияя целым кругом, луна стояла в зените, заливая негреющим светом окрестность и уже понемногу «зажигая» туманы в низинах; таящих прохладу и болютно-болезную сырь.

Удачи не было у косарей. Либо место выбрали неверно, либо эта ключ-травка цветет у людей только в сказках-побасках, да и то не для всех, а для таких вот простачков, как эти двое – Афоня-Ахламоня и Панкрат-Панок. Ишь, как размахнулось дурачье на дармовщинку! Клад им подавай в кулечке с бантиком! А дулю вам под нос не надо, братцы?

Такие мысли проносились в голове – от усталости, от стра-

ха и отчаянья.

И уже появилось желание бросить глупую эту затею – не тратить силы попусту.

«Дойдём до той берёзы – и хорош!», – глазами отмерил Ахламона, необъяснимо тревожась, словно бы ощущая чей-то недобрый взгляд в кустах поблизости.

Коса, накануне хорошо заточенная, плескалась по травам, как длинная серебристая рыбина по воде – на несколько секунд ныряла в тёмный омут и опять выныривала, брызгая росой, словно чешуей. Живокость иногда попадалась – васильки рогатые, так ещё звали эту костлявую, высокую траву. Ядовитая дрянь, её с корнем всегда выдирали с покосов, и одна только польза была от неё; отваром из рогатых васильков хорошо по избам мухоту травить и всяких других насекомых.

Ахламона, широко шагая судьбе навстречу, скоро дошёл до намеченного дерева в низине у реки. Коса подбрила длинноногий рогатый василёк и неожиданно ударилась о камень. Высекая звонкую искру, лезвие хрустнуло и переломилось пополам. Осколок, подсеребрённый лунными лучами, ярко вспыхнул, отлетая к березовому комлю.

Сердце Ахламони «обвалилось в пятки». Замер, не дыша. Глазам не верил...

«Есть!» – Он загорелся жуткой незнакомой радостью. Облизнул пересыхающие губы. Поднёс поближе – чуть ли не к самому носу – деревяшку с обломком металла. Руками по-

трогал, желая удостовериться — коса действительно сломалась о волшебную траву. Он брата окликнуть хотел, но подоспевший Панок уже сзади стоял; томился; горячо и взволнованно в затылок сопел.

— Не... неужели? — Панок увеличил глаза, заикнулся.

— А ты думал, птичку я нашёл? — самодовольно, лихорадочно кивнул Ахламоня. — Вот здесь! Здесь ключ-трава растёт! На ней сейчас моя коса, как спичка... р-раз и обломилась... О! Глянь-ка!

— Ви... вижу, — подтвердил Панкрат-Панок, теряя присутствие духа.

— Не лязгай ты зубищами, дьявол! Из-за тебя не слышно ничего: то ли кто в кустах звенит, то ли ты под ухом чакаешь.

— А ты с «дьяволом» па-па-аккуратней, — огрызнулся младший брат, не попадая зубом на зуб.

— Ладно, указчик, тоже мне. Отойди, а то ещё откусишь ухо!

— У меня, — пожаловался Панок, затравленно озираясь, — наверно, снова ма-мамалярия начинается... вон как всего трясеть... ещё с дому почувствовал.

— Тря-сеть! — передразнил Ахламоня, вглядываясь в тёмные кусты, где мерещился шорох. — Понял я твою болезнь. Медвежью. Горе мне с тобою, брат. Не чаял я, что ты такой. Может, домой поедешь?

Панок только об этом и думал в последний час. Но не сознаваться же в своих трусливых намерениях.

– До-домой? Зачем? – прикинулся наивным.

– Затем, что скоро полночь, – брат на луну глазами показал.

– Ну и что? П-пускай... – для виду артачился Панок, а сам всё думал, как бы не переиграть; брат сейчас возьмет да скажет: «Ладно, оставайся, если хочешь!»

Но Ахламоня продолжал:

– Боюсь, что у тебя сердечко лопнет. Скоро здесь такие страсти разыграются, не приведи господь! Помнишь, старики нам говорили: ключ-траву найдёте, а потом... – Ахламоня оглянулся на темные кусты. – Потом нечистый отымать начнет у вас волшебный ключ!

– А ты, Афоня? Как же ты один здесь?

– Не один, а с Божьей помощью. Управлюсь как-нибудь.

– А мне мою долю отдашь? – алчно облизнувшись, поинтересовался младший.

От вероломной этой наглости и Ахламоня тоже чуть заикаться не начал:

– Ка... какую долю? Ты о чем, Панок, гутаришь? Я, может, и сам ни шиша не найду, а он про свою долю... И не стыдно? Ты на перине будешь дрыхнуть, а я с чертями тут воюй... А опосля, выходит, я должен принеси тебе твою долю в кулечке с бантиком? Нет уж, мил-друг! Оставайся! Сам ищи свою долю. Ишь ты, как захотел: на дурачке прокатиться? И рыбку съесть, и на хобот сесть? Не выйдет!

– Я не виноват... Я з-заболел...

– Ты мне мозги не вкручивай. Иди, если собрался.

– А как же нам быть с обласком?

– Ах ты, язви тебя в дышло! – спохватился Ахламоня. – Хорошо, что напомнил. Я совсем забыл про лодку. Надо будет что-то с ней придумать... А вот что! Ты в деревню уплывешь... только помалкивай насчет меня. Если кто будет спрашивать – ничего не знаешь и не видел, понятно? Ну, дак вот. Уплывешь в деревню. Лопату в обласок на всякий случай бросишь. Мне лопата завтра может пригодиться... А лодку оттолкнешь недалеко от шиверы – её пригонит вот сюда, за курью. Здесь большое улово имеется – вода поймает. Лодка обязательно приткнется в этом месте, я так уже делал однажды. Только лодку надо оттолкнуть за Степкиным мосточком, знаешь, да?.. Ну, давай, иди. Времени, пожалуй, уже много – вон в деревне как раздухарились!

Думая успеть уехать до наступленья полночи, Панкрат-Панок спросил:

– А сколько на твоих часах?

– Остановились. – Ахламоня, с сожалением вздыхая, вытащил старинную, серебром роскошно украшенную «луковку». – Я их сильно стукнул, когда садились в лодку. Но луна-то, видишь, где – уже за Чертов Палец зацепилась. Да и ребята расшумелись, и костры до неба – скоро полночь.

Он приподнял поврежденную «луковку» и потряс около уха в надежде, что заставит механизм работать. Серебряной крышкою щелкнул – и раз, и другой.

И тут в кустах неподалеку что-то прошуршало и словно бы железо звякнуло. Или это щелкнула крышка от часов?

– Ты слышал? – переходя на шепот, окликнул Ахламоня, торопливо пряча «луковку» в карман.

– Нет, ничего... – мстительно, с нарочитым спокойствием ответил Панок, давая понять: не он один сейчас боится.

Они прислушались – в четыре уха. Река бежала. Редкие капли росы падали в травах.

– Да, нет, всё тихо, – сказал Ахламоня. – Это показалось мне. В часах, видно, что-то забрякало...

4

Если на деревню смотреть издалека, из-за пригорка – будто подожгли её ребята, доигрались, окаянные в июньскую ночь на Ивана Купала: широкое зарево дышит, шатается в той стороне, где родные дома. А если выйти на прозористое место – видно, как в деревне за рекою костры высоко разгорелись на косогорах; отраженные огни вытягивались на воде длинными пылающими веретёнами, которые неспешно, размеренно крутила и крутила бегущая река – золотые ниточки разматывала... Доносились отголоски песен, то протяжных, грустных, то резких – вперемежку со смехом и посвистом. И гармошка слышалась – тоненько взвизгивала. И уже плясали кругом огней: тени до неба шарахались и опадали под берег. Чувствовался праздник, беспечное веселье, набираю-

щее силу...

Этот сладкий шум и этот золотистый свет, долетая до поляны, щемил Панкрату сердце уж давно, а в ту минуту, когда Ахламоня с миром отпустил его домой, особенно сильно захотелось оказаться в гудящем кругу молодежи, за разговорами сидеть возле купальского огня или ходить в хороводе, сжимая нежную руку нравящейся девушки.

«К чёрту ваш проклятый клад! – отмахнулся Панкрат-Панок, посмотревши на покосную поляну. – Нет, оно бы хорошо, конечно, жить по колено в золоте, по локоть в серебре, но это, видно, уж не для мен. Нет, нет, довольно! Зачем тогда ухлопали мужика в тайге? До сих пор ко мне он ходит по ночам во сне – хватает за горло. Нет, не хочу я никакого кладу!»

Собираясь уходить, парень поднял косу, лежащую в траве, но в это время сверху, на берёзе, филин бухнул, точно из ружья.

Панок попятился, бледнея, и округлил глаза.

– Аф... аф... – по-собачьи прохрипел он, теряя голос. – Афоня, по-посмотри! Занялось!

Филин снова громко ухнул в тишине. Лунный диск – неожиданно быстро – закатился за облака. И в темноте среди мглистых листьев ключ-травы, похожих на распахнутые крылья приземлившегося орла, зловеще стала разгораться розовая почка, словно кровью налитой орлиный зрачок.

Продолжая пятиться, испуганный Панок запутался в тра-

ве — чуть не упал на вздёрнутое жало своей литовки. Отшвырнул её подальше — побежал к реке.

Старший брат невольно следом кинулся, но через несколько шагов остановился. Крепким усилием воли заставил себя вернуться и подойти на цыпочках к волшебному огню...

Вот это было зрелище!

Ахламоня долго — как замороженный — стоял перед огнём, смотрел, не мигая, почти не дыша. Стоял, сильно скрепив застучавшие зубы и ощущая на спине и на затылке заморозки.

А почка в траве между тем раскалилась до цвета созревшей калины. Красноватые блики взыграли на зеленовато-чёрных стебельках. Медленно разбухая, бледнея от жара, бушующего внутри, почка хрустнула и раскололась крестиком — на четыре части. Наружу стремительно вырвались огненные лепестки, багровые с голубоватым отливом: разгораясь, они зашипели, вытягиваясь вверх змеиными животрепещущими язычками.

Новорожденный жар-цветок приподнялся на розовой ножке, встряхнул головою — и странным каким-то холодным сиянием озарилась тихая прибрежная поляна.

Кладоискатель руку выставил вперед, заслонился. И вдруг увидел перед глазами свою ладонь — прозрачную, кровью налитую; точно кожу, как перчатку, содрали с неё в тот момент... Ахламоня зажмурился, но диковинный сильный

свет малиновыми иглами пробивался и колол сквозь веки... Жуть на несколько секунд прихватила сердце под ребром – задержала заполошное биение.

«Пан или пропал! Скорей!» – отчаянно приказал себе Ахламоня.

Распахнув глаза, он схватил в траве обломок от литовки. Скрипнув зубами, коротко, но сильно полоснул острием по перевернутой ладонке. Глубокий разрез потемнел и переполнился кровью – закапало наземь...

Не размыкая рта, кладоискатель зарычал от нестерпимой боли. Сорвал цветок и сунул прямо в рану – так учили старики в деревне. Кровь шумно закипела на ладонке, запузырилась, пуская дым, и начала обугливаться.

Ахламоня поднялся с колена, пошатываясь и ощущая хмель в гудящей голове. Цепко зажимая жар-цветок в горячем кулаке, он припустил без оглядки.

Кругом было темно, но вот что удивительно: сквозь пальцы у него пробивались длинные багровые лучи – слабо озирали бездорожье, будто кровью залитое. Ему казалось, он бежит во весь опор, бежит быстрее ветра, только на самом-то деле Ахламоня едва-едва переступал по высоким травам – страх повис на ногах, как пудовая гиря.

Впопыхах он ударился о дерево, вставшее на пути – едва не упал.

И вдруг – неподалёку от этого дерева – плотный кустарник впереди зашевелился. Железо впотьмах приглушённо

забрякало. И на поляну кто-то медленно стал вылезать. Кто-то чёрный, лохматый. Зверь, человек ли – не разобрать...

5

Мало найти в заповедных местах ключ-траву, мало совать жар-цветок и разрезать ладонь – всё это не более чем сказка в долгих поисках любого клада. Сказка поджидает впереди. Самое трудное, самое страшное заключается в том, что злая сила непременно встанет на полномочном твоём пути – постарается отнять заветный ключ и завладеть несметными богатствами земли и неба.

Так было всегда у людей при встречах с волшебной травою.

Так случилось и на этот раз.

Быстро бежал Ахламоня, но ещё быстрее сзади по кустам ломилась нечисть, железными зубами скорготала и, наступая на пятки, стремилась ухватить кладоискателя за руку – во что бы то ни стало забрать себе, забрать калёный ключ.

Страшное сопение, топот и перезвон железа немного отделились: Ахламоня, наконец-то, разогнался – козлом сигал через кусты, через валежины. Быстрые ноги вынесли его на берег старицы, туда, где причалили с братом.

«Лодка! Лодка! – колотилось в разгоряченном мозгу. – Куда девалась?.. Пропаду!...»

Берег, озаряемый светом жар-цветка, был пуст. Ахламо-

ня вправо кинулся по кочкам, едва не выворачивая ноги в лодыжках... Здесь лодки тоже не было. Он слева за кустами поискал... И тут не видно... Он пробежал ещё немного вверх по течению... Потом заметил смутный контур гребца и обласка – вдали по-над рекою.

– Панок... – простонал он. – Что же ты делаешь, брат?

Подскочивши к воде, Ахламоня поскользнулся на сырой траве. Рука с волшебным жар-цветком разжалась – и воздух над рекою обогрелся, будто на утренней зорьке. Но это продолжалось лишь несколько мгновений. Чья-то мокрая, сильная, волосатая лапа, звеня железом, накрыла цветок и сграбастала.

Кладоискатель попробовал сопротивляться в темноте, но силы оказались неравны. Что-то металлическое гроыхнуло сверху: острая боль колом вошла сквозь темечко и прострелила всё тело – до пятки...

Ночное небо, на мгновенье вспыхнув, покосилось перед ним и задрожало. Звёздный мир поплыл куда-то, в землю опрокинулся...

6

И в третий раз ударил тишину филин-пугач, сидящий на высокой берёзе. И выкатилась полная луна – холодным белоснежным комом встала посреди небес. И сделалось видно, как днём.

Полуобнаженный волосатый человек, опутанный цепями, остановился над поверженным кладоискателем, в кулаке у которого трепетало пламя волшебной ключ-травы, — сопротивляясь, Ахламоня завладел-таки цветком в последний миг.

Наклонившись, галерник приложил невероятные усилия — кое-как разжал крепкие красные пальцы кладоискателя, сведенные судорогой. Горячий уголь выкатился из глубокой раны и, уже не питаемый кровью кладоискателя, не горел так сильно, как минуту раньше. И всё-таки Ярыга отшатнулся, ослеплённый лучами. Затем в недоумении поднял цветок с земли, подозрительно щурясь, и осторожно поднёс к лицу — получше рассмотреть.

И тут случилось невероятное.

Цепные звенья звонко лопнули — одно за другим. Проклятое железо, которое галерник таскал годами, с невероятной лёгкостью рухнуло под ноги...

Галерник даже вскрикнул от неожиданности. Он слышал разговор этих двух косарей на поляне — разговор о каком-то волшебном ключе, отмыкающем все клады на земле, но разве мог он предположить...

Он и сейчас не верил свершившемуся чуду. Какое-то время стоял истуканом. Смотрел на цепи, грудой лежащие в ногах. И вдруг, разинув свою волчью пасть, Ярыга громко, хищно и победоносно расхохотался. Встряхнув освобожденными руками, он почесал могучие мослы на запястьях, до

мяса натёртых за много-много лет широкими браслетами цепей.

Волчья пасть от волнения пересохла. Припав к воде, Ярыга вдоволь налкался, громко, басовито рыча. Сграбастал цепи, сильно размахнулся и зашвырнул – едва ли не на стрелень.

И теперь только поверил окончательно: свободен!

По-волчьи покрутил косматой головой – всем телом оглянулся туда-сюда. Шумно сплюнул. Руками помахал – не мог ещё привыкнуть, что они такие лёгкие, как крылья. Глядя на волшебный жар-цветок, он оскалился такою жуткою ухмылкой, точно острый нож держал в зубах.

«Да я с этим ключиком, – восторжествовал он, – далеко пойду!»

Под ногами у него захрустел чапыжник – густой кустарник, словно бы за руки схватившийся между собой; не продёшься. Потревоженные кулички, селезни и утки, посвистывая крыльями, вылетали из туманных синеватых камышей на старице.

За рекой луна слабела вдалеке; засыпая, медленно клонила светловолосую большую голову на покатые вершины предрассветных беловодских гор.

Молодежь в деревне или где-то на краю продолжала палить костры, веселиться, петь на косогорах. Но гармошка словно бы уже охрипла, а балалайка словно потеряла самую звонкую струну. И голоса в хороводе заметно слабли, поте-

ряли удадь. Зато петухи подпевать начинали всё громче, всё задорней – это были третьи петухи.

Предутренняя прохлада вытряхивала росы из тумана – берег свежо сверкал травой, деревьями; крупные частые капли клонили до земли стебли папоротника-орляка, на которых ещё недавно вспыхнул желанный жар-цвет, теперь зажатый в жадном кулаке Ярыги.

7

Весёлая та июньская ночь на Купалу едва не стала зловецей ночью для нашей беловодской стороны.

Злому духу завладеть колдовским ключом, распечатать клады под землей, растратировать богатство небес – что можно хуже придумать?

Но не случилось беды, слава Богу. Пока не случилось.

Потерял Ярыга драгоценный ключ. Переправлялся, говорят, на рассвете по Летунь-реке, а волны разыгрались вдруг. Да как-то очень странно разыгрались – там, говорят, не обошлось без водяного, без его подмоги, без его проказливых проделок. Может, водяной, может, русалки, а может, это просто дело случая – река взыграла на ветру. Рассердились волны, подняли плоскодонку на дыбы, перевернули – да и канул жар-ключик на дно...

А Ярыга жив остался, выплыл. Оно ведь, это самое... добро, никогда не тонет, как известно.

Летунь-река, рассказывают, долго бурлила в том месте, где горел на дне жар-ключ. Даже вечерами виден был сказочный отсвет, лёгкой багрецой и мокрым золотом струящийся из-под воды. И тёплое течение в том месте зародилось – много зим курилась полынья, но потом или жар-ключик поутих, пригас, или водяной, или русалки его прибрали к рукам – от греха подальше унесли в свои подводные глубокие владения.

И всё бы ничего, но Ярыга потерял покой и сон. С той поры он думал лишь об одном: как бы ему ключик выудить со дна реки. Или другой такой же раздобыть в июньскую ночь на Купалу. Но как его добудешь, колдовской цветок, если даже литовку в руках ни разу в жизни не держал – только веслом привык «волну косить» на проклятых галерах...

Думал, думал каторжанин – голова распухла. И придумал-таки, окаянный рыцарь Мальтийского ордена.

Только это уже совершенно другая история. Наши косари, конечно, знают и могут рассказать однажды вечером, когда покосы пойдут на убыль, когда можно будет чарку выпить, отдохнуть у костерка. Но лучше бы тебе, соколику дорогой, не косарей послушать. Они своё слово сказали – и хватит. Шабаш. А лучше бы тебе услышать из первых уст. Кто это может? А я подскажу.

Один ямщик на тракте, мой стародавний друг. Он когда-то частенько бывал у нас на покосах, а теперь всё время на тракте пропадает. Он к этому тракту привязан, всё равно что дите к пуповине. Он хорошо расскажет, коль хорошо

попросите. Это мастер дорожных побасок, он знает, где поставить золотую точку, только не знает, где её найти – гоняется все время за ней по белу свету, а догнать не может, не судьба...

Глава десятая. Пешком по небу. Дорожные побаски

*Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силёнку...*

Песня

1

Как хорошо звенело раньше слово русское – от зубов отскакивало и не то, чтобы в уши, а прямо в души было способно западать. Ну, вот вы сами послушайте: «Лежит брус во всю Русь, а встанет – до неба достанет!» Хорошо? Отлично! Просто любо-дорого. Именно так – горделиво, зазвонисто – говорили когда-то о прямых бесконечных дорогах на русской равнине.

А вот этому Чудному тракту – старинному, легендарному – даже не надо вставать. Он и так достаёт до небес, винтом зарываясь в предгорья и горы страны моего Беловодья, туда, где земная и звёздная пыль давно уже перемешались.

Летят года, летит вода в Летунь-реке. Меняется облик привычного мира, и не всегда, к сожалению, в лучшую сторону – или нам, старикам, это кажется только? Дай-то бог,

если так, дай-то бог. Только сдаётся мне, что это не самообман – жизнь меняется не самым лучшим образом.

Был у меня тут в гостях один парень – кудрявый, лукавый, всё песенку пел:

Их величество –
Электричество!
А на троне-то –
Электроника!

Да, у сегодняшнего века – электроника на троне. Атом – царь и бог, бомба – царица. Всё это теперь на первом месте. А раньше Их Величеством считалось нечто другое. Это было – сердце и душа, и песня наша русская, и пляска, и мечта, слёзы радости и слёзы горя; вот что мы отодвинули в тень, закинули в траву забвения.

Вот почему – признаюсь тебе откровенно – я с такой печалью и тоской смотрю теперь в наше недавнее прошлое. Оно мне дорого по той простой причине, что там, на царском троне, восседала, миром правила – Любовь.

И меня эта царица осчастливила. А ты как думал, друг любезный? Я ведь не всегда был такой пенёк замшелый с белой бородою до коленок. Нет, была и молодость. Как это ни странно. Ха-ха.

Было это в ту пору, когда я на почте служил ямщиком.

Тогда на этом Чудном легендарном тракте было немногочисленно, не суетно, тихо. Выйдешь утром коней запрягать, ухо

чуть наостришь: далеко-о-о-далече слышно, как звенят бубенцы да колокольчики на почтовой тройке или на курьерской; в ту пору только на них разрешалось развешивать залиvistые звоны. В чистом прозрачном воздухе эти звоночки будто в небе тилиликают – за перевалом где-то. И даже не в России, может быть, а где-нибудь в Монголии, в Китае; какую-нибудь грамоту китайскую торопятся доставить русскому царю. Или подарок. Это уж как выпить дать – граница недалече. Вон за тою горой – поворот на Монголию, а вот за той седловиной – Великая Китайская стена, которую считают чудом света, во всяком случае, одним из таковых.

Летунь-река на тракте из века в век была самая горластая певунья, особенно там, где она подходит вплотную к дороге. Но теперь на тракте шумно так, что реку даже ночью не слышно; не везде такой шум, но во многих местах, к сожалению.

Сегодня – и ночью и днём – гремят в горах страшнее камнепада, кажилятся на перевалах перегруженные, угарной вонью пышущие «Татры», «КамАЗы», «Колхиды»... От современных этих мастодонтов содрогаются деревья у дороги, задыхаются и листвавьё, и хвоинки раньше срока хиреют. Зверь, ослеплённый фарами, замирает и затравленно жмурится. Гигантские тени повсюду шатаются. И возникает невероятное, болью в сердце колющее чувство, будто горы сдвигаются со своего насиженного места – уйти подальше от неразумных суетных людей.

Кроме этих трудовых автомобилей сегодня по тракту проносятся легковые разноцветные машины, летят с весёлым ветерком, с громобойной современной музыкой и такими захватскими песнями, слушая которые всякий раз пугаешься: будто придурики захватили радиостанцию.

Седоки в легковушках – как правило – сытые, вальяжные, самоуверенные. У этого дяденьки – тройной подбородок на галстук дремлет. А у того миляги – животик до того разбарабанило, что даже баранку временами заклинивает... Где-нибудь в Райской или в Лазурной долине остановят седоки своих железных резвых рысаков – недалеко от мирно пасущейся отары, купят или просто на водку обменяют лупоглазого барашка. На берегу, возле костра, спокойненько воткнут ему ножик под ребро, умеючи разделают и шашлыки сварганят – язык проглотить!.. А впрочем, эти хлопоты – с ножами да баранами – они остались в прошлом. Теперь куда как проще. Деньги есть – купец нажмёт на тормоза и купит себе всё, что нужно. От пуза поедят, попьют, покурят, травку помнут с девицами за кустиком, и умчатся дальше, оставляя на память о себе разор и хлам; без этого редко обходится. И где-нибудь на самом видном месте – на придорожной скале или даже на Древе Жизни – появится ещё одно великое граффити: здесь был такой-то и сякой; без этого тоже почти не обходится отдых культурных, шибко грамотных людей...

Одно время, помню, я ходил и прибирал за ними, граффити соскребал. А теперь, увы, устал – укатали сивку по го-

рам. Да и много их теперь – грамотеев, летящих на раздутых парусах.

Теперь везде по тракту понатыканы кафе, бензоколонки, гостиницы, турбазы, скотобазы, кемпинги и много, много прочих новостроек, на которые нельзя смотреть без грусти. Суетлив человек, суетлив и пакостлив, и особенно пакостлив, когда он сбивается в стада, способные затоптать не только травушку-муравушку. Вот потому и меняется облик привычного мира. Не в лучшую сторону. И потому, наверное, седины прошлого представляются мне в самом радужном свете.

Вижу, вижу сказочную даль.

2

Как чисто, как звонко на утренней зорьке, и до чего же ароматно цветут сады, хранящие за пазухой своей, как яблоки, россыпи спелых созвездий. Сказочная древняя земля просыпается. Земля тихонько ветру отдаёт терпкую полночную прохладу и, потемнев от сырости, помигивают согнутые стебли трав, зелёными клювами проткнувшихся между камнями древней китайской крепости – росинки на травах играют первыми лучами солнца, встающего над Поднебесной Империей. Вот уже и заблестели черепицы на крышах домов, засверкали камни древней крепости.

Город пробуждается – зевает и потягивается. Но ещё тихо,

сонно и немногочисленно в городе Чанъань, который тогда ещё был столицей Китая. (Сегодня этот город называется Сиань).

На высоких западных воротах города со скрипом размыкаются могучие засовы. Голоса погонщиков слышны – караваны выдвигаются в путь. В караванах видны только азиатские верблюды – двугорбые. С какою-то царственной важностью эти верблюды вышагивают по улицам, ведущим за город Чанъань. С удивительным высокомерием и даже с презрением двугорбый предводитель каравана смотрит на своего собрата дромедара – одногорбого верблюда, одомашненного, который стоит в загородке, встретившейся на пути. Дромедар, словно бы чувствуя свою неполноценность и, словно бы завидуя путешественникам, глубоко вздыхает, опуская большие выпуклые глаза.

А караван всё дальше движется.

Колокольцы глухо гомонят, и в песок витиеватых караванных троп лопатами ложатся глубокие следы размеренных размашистых «кораблей пустыни», без отдыха способных преодолеть огромные пространства. И чего только нету на горбах караванов! Там тебе и золото, и серебро, и драгоценные камешки, изделия из кожи и красочка для рожи, чтобы сделать из неё благовидное личико. Там тебе и ковры, и посуда, пряности, специи, рис. Там тюки с фарфором, кобальтом, бронзой, шерстью и знаменитым в ту пору кяхтинским чаем, тем, который поначалу пойдёт на Кяхту, а потом в Россию.

Но самое главное, самое ценное среди разнообразных грузов каравана – сказочный китайский шёлк, секрет изготовления которого тысячелетиями хранится втайне у мастеров.

Шёлк – на горбах верблюдов. А караванный путь не шелком выстлан. Тысячи тяжёлых вёрст горячими пустынями, степями, кремнистыми извивами труднопроходимых горных троп... Впереди бесчисленные трудности, опасности, борьба, и не все придут к заветной цели. Нет, не все, не будем обольщаться.

Венец пути – Венеция.

Дай бог удачи вам, лихие караванщики, на Великом шёлковом пути!

3

Вижу, вижу сказочную даль, вижу весёлое вольное время походов, кочевий. И явственно слышу, как скрипками скрипели и бесконечно тянулись по Чудному тракту большие караваны в Персию, Индию, Монголию, Китай...

Цветными снопами и скирдами возвышались на телегах и двуколках ситцы, шелка, чай, халва, конфеты и печенье – к застольям знаменитой беловодской ярмарки. На арбе грудой навалены панты – молодые рога благородных оленей, зелье из которых обладает чудо-силой, заставляющей старцев гоняться за молоденькими девками, годящимися им во внуки... А в клетке томится жар-птица, по вечерам озаряет ка-

раванные тропы. И птица попугай, и птица посмеши едут на горбах верблюда.

Злато-серебро пригрелось за пазухой жирного купчика, с тревогою втыкающего хитроумный взгляд в глухую беловодскую округу: «Что там ждёт, за поворотом? Господи! Оборони и сохрани от вертопраха!...»

Калёное солнце прибрало с утра подчистую – и росы на травах, и туман по низинам, и прохладу в коридорах между скал. Огромное, расплавленное солнце живым огнём стекало с небосвода, вливалось в колею раздолбанной дороги и струилось жёлтыми ручьями с перевалов – вдогонку за караваном... И людям, и животным жестоко припекало ноги, и потому весь день приходилось двигаться как бы вприпляску, словно под какую-то неслышимую дьявольскую музыку.

Здесь каждый из погонщиков чувствовал себя словно бы одетым в стёганный зимний халат – чапан.

Злые от зноя, ополоумевшие, потные и пыльные погонщики так безбожно ругались – уши вяли у бухарских ишаков, остановившихся вдруг посредине дороги и не желающих куда-либо двигаться по такому губительному пеклу.

– Пошёл! Пошёл! Ай, чтоб тебя шайтан задрал!

Погонщики, в кровь сбивая казанки, нещадно молотили кулаками и добавляли пинком. Только нет и нет! Ничем не сдвинуть с места ишаков и до полусмерти замученных верблюдов, мулов, норовящих спрятаться в холодок...

Путь казался бесконечным, однообразно-унылым. Так

что и не сразу люди замечали: долгий день в горах, клонясь к закату, догорал за несколько минут. Зубчатые скалы на горизонте срезали с небосвода огнедышащее бешеное солнце.

Сизыми широкими громадами к подножьям гор валились тени; в распадках наготове уже стояли голубые сумерки, тянувшие туман из-под кустов и травы... И только луч – последний луч, зажатый скалами, – по-азиатски шурил карие искристые глаза, продолжая наблюдать за караваном. И необъяснимый этот взор, хитроватый, мифический, снова будил тревогу в сердце купчика...

Знойный звон затихал по-над ухом. Верблюды замирали, переставали харкаться в погонщиков; монгольские лошадки и истошно икающие ишаки успокаивались. И распространялся по округе благостный покой. Одинокое облако, напитанное красками червонного заката, легко и вольно двигалось к ночлегу – словно ковёр-самолёт, расшитый золотыми нитками, проплывал над караваном.

Алтайские улары, возвращаясь откуда-то с сытой кормежки, «кудахтали» в каменных россыпях и замолкали на гнездах.

– И в Тибете такие же, только без чёрных полосок, – сказал какой-то опытный погонщик.

Купец нахмурился.

– Кто без чёрных полосок?

– Улары. Вон пролетели.

– Ты не раззявливай рот! – проворчал купец. – Тибете здесь

не Тибет. Здесь надо ухо остро...

– А чего здесь?

– Ты знай, погоняй, да молчи.

– А ночевать-то будем? Или как? А то верблюды вот-вот уже рухнет на колени, трудно будет поднять.

– Скоро остановимся. – Купец по сторонам посматривал. – Где только лучше...

Доселе жёсткий воздух становился помягче, нежнее – переставал царапать ноздри и гортань. Скалы, изредка раскалываясь, там и сям, потрескивали, отпуская жар. Камень, отдыхая от солнечного гнёта, начинал «умываться» – сверкал едва приметной влажной пылью... Неуловимо для неопытной руки, но ощутимо каждому погонщику – отсыревали кожаные сёдла, вожжи, сбруи, бурдюки с кумысом; всё намекало на скорую желанную прохладу.

Купец приглядывал местечко понадежней. Хотелось найти небольшую каменную пазуху, недалеко от караванной тропы; там и костерок не видно постороннему глазу, и тихо будет, если ветер налетит. Только «пазуха» такая всё никак не встречалась, а время поджимало, между тем; силуэты тёмных гор на горизонте уже почти стушевались.

И наконец-то местечко нашлось где-то за просторною излучиной неугомонной реки, изумрудно-измятой и вспененной перекатами. Хорошее местечко – на поляне под гордыми, мудро молчащими кедрами, вершины которых уже затерялись в темно-ласковой вечерней вышине.

– Ночу-у-й! – врасстяжку оповестил купец.

И все погонщики разом облегченно вздохнули; будто приговоренные к смерти, они вдруг услышали весть о своём помиловании.

С животных начали снимать «свинцовые» выюки, сёдла. Вынимали горячие трензеля из побитых, запекшихся губ. Треножили и путали волосяными путами и на арканах отводили в пойменный роскошный травостой, откуда вылетала непуганая птица.

Уже было темно, и вдруг прощальный луч какой-то – словно бы отбившийся от лучезарной стаи – неожиданно вспыхнул на самой высокой вершине горы. Луч на несколько мгновений разгорелся, пурпурным отблеском зари раздробился на леднике – и медленно стал умирать. И вслед за этим – теперь уже до утра – потерялись очертания дороги, деревьев, скал. И в глубине угрюмого ущелья темень стала тяжелеть, и вблизи с каждой минутой сгущалась темнота – точно дёгтем мазала колеса брошенных повозок.

И тишина кругом – хоть уши выкинь.

4

Афанасий Кикиморов – Афоня-Ахламоня, едва не убитый Ярыгой, сбежавшим с галеры, – и без ключ-травы разбогател неведомым образом. Ахламоня солидный стал, важный – «поперек себя толще». Он ходил в цветных турец-

ких шароварах, таких широченных, что не сразу мог найти необходимую штуковину – для справления малой нужды. На пальцах нанизана куча всяких блестящих колец и перстней, образующих мясистый «золотой кулак». На шее, которую он стал держать немного вбок после схватки с галерником, на жирной, крепкой шее у него каждый день болтается новенький какой-нибудь шелковый платок: зеленый, красный, синий – в зависимости от настроения Афанасия Даниловича. Да-да, теперь зови только по имени и отчеству, а то и ухом не поведет или в рыло может сунуть «золотой кулак».

Это он, Афанасий Данилыч Кикиморов, шёл нынче с караваном. Удачное дельце обстряпал в Китае, безмерно был доволен, хотя виду и не показывал – завистники сглазят.

Блаженный вздох нарушил сумрачный покой под кедром, где расположился купец Кикиморов.

– Ого-го, денечёк выдался какой! – пожаловался он, отирая шёлковым платком сырое кривое бревно своей шеи. – Напекло, так напекло! Вся шкура на загровке и на спине полопалась!..

– А у меня не только на спине – и ниже, – ответил кто-то. Шутка не понравилась купцу.

– Эй ты, босяк! – прикрикнул он. – Принеси гусиный жир! В повозке...

Босяк – здоровенный мужичина, не так давно прибившийся к этому каравану – засуетился, изображая улыбку.

– Бегу, Афанасий Данилыч! – Он слегка поклонился. –

Ваша болячка – это ить и наша... Эй, кто там? Помоги!

Достали деревянное барило – круглый бочонок, опоясанный металлическими полосками.

Купец Кикиморов, кряхтя, стянул рубаху, лёг на персидский разноцветно вышитый ковёр, услужливо раскинутый под кедром, где предварительно очистили площадку от шишек и сучьев.

– Мажь, да потихоньку. Больно. Слышишь? А то как бы я тебе не вмазал! – предупредил купец.

Запахло ароматным гусиным жиром, заполняющим ложбинку на холеной широкой спине.

– Так нормально? Так не больно?

– Больно будет – врежу. А пока... У-у! – сладко постанывал Кикиморов. – О-о!.. Вот нажгло, так нажгло, как в преисподней, не к ночи помянуто будет!

Босяк – с легкой руки хозяина все так и называли новичка, – закончив натирать купеческую спину, басовито полюбопытствовал:

– Афанасий Данилыч, а на вашем Беловодье, что ж, всегда такое солнце летом шпарит?

– Не всегда, босяк. Бывает и похлеще. Рыба в речке варится живьём! – пошутил полуголый купец, почёсывая крупный узловатый пуп.

– Да что вы говорите? – Босяк изобразил не то ужас, не то изумление. – Готовая уха? Прямо в реке?

– Бывает прямо, бывает криво... – Купец хохотнул; боль

от спины отступила, он повеселел; сел на ковре, скрестивши ноги, – большое брюхо на колени свесилось. – Эй, там! Работнички! Хватит ушами отмахиваться от мух! Живо костер гоношите! И дайте мне ещё водички. Никак не напьюсь. Тут поневоле позавидуешь верблюду. Сколько он может не пить?

– До двух недель, – ответил опытный погонщик.

– Это как же он так умудряется?

– У верблюда особая складка в ноздрах. Во время дыхания влага собирается в этой складке и в рот попадает.

– Тьфу ты, чёрт! Какая влага? Сопли! – брезгливо сказал купец. – Что ты башку мне морочишь?

– Сопли, сопли, Афанасий Данилыч. Он потому и плюётся. Сопляк. Влагит-то много. Не жалко. Ну, то есть не влаги, а этих... как вы точно сумели заметить...

Кикиморов напился, проливая воду на живот.

– Работнички! – крикнул он, глядя под берег. – Хватит ушами отмахиваться от мух! Живо костер гоношите!

Топор застучал среди кедров. Громкое эхо откликнулось в сонном ущелье – взялось «рубить деревья». Какая-то птаха заполошно закричала с перепугу, вылетая из кустов шиповника, куда с треском обрушилась подраненная длинная сушина.

В темном посвежевшем воздухе скоро задорно запахло верблюжьим молоком, кумысом, аракой и поджаренным мясом молодого ягненка.

Афанасий Данилыч ел много, небрежно. Руки испачкал

до локтей, рубаху чуть не изгваздал. Подбородок, щеки до ушей лоснились...

Старый, многоопытный погонщик с грустью глядел на купца. «Небрежный человек ты, Афанасий, – думал погонщик. – Шайтаны вредят таким людям. Да смилостивится Аллах над тобой!»

– Ну, чего ты вылупился? – заворчал купец, набив утробу до отказа, отрыгнув. – Чего тебе?

– Я за вас помолился, Афанасий Данилыч.

Купец опять негромко отрыгнул. Грязным ногтем ковырнул в зубах.

– Вай, каналы! Скусно! – похвалил он, шёлковой салфеткой вытирая перстни. – Где вы добыли этого молодчика?

– Ягнёнка? С собой волокли, Афанасий Данилыч. На телеге. Специально для вас.

– Ну, робятки, вы меня ба-а-луете! – самодовольным голосом «укорил» купец. – Помогите подняться, каналы! Обкормили Афанасия Данилыча. Как прямо на убой, не к ночи будет сказано.

Босяк – здоровущий мужичина, раньше, рассказывают, бурлаком на Волге был. Играючи, он подхватил хозяина подмышки, оторвал от мягкого цветистого ковра и проводил к реке – ополоснуться перед сном.

Костер, горящий на возвышении, опрокинуто отражался в тихой воде: два огня, бойко вихляя желто-малиновыми языками, дразнили друг друга, дымя и пощёлкивая, плевались

золочеными искрами, восходящими к небу и в то же время точно улетающими на дно. Пламя жадно и скоро пожирало сушняк. И темнота уплотнялась.

– Одному палить костер всю ночь! Не спать! – строго наказывал Афанасий Данилыч, позевывая и подслеповато, из-под руки, вглядываясь в ночь. – Оно тихо-то тихо, да бродит в нём лихо. Как хотел я это место проскочить до темноты. Дак разве с этими тупыми ишаками проскочишь! Встанет, гад, среди дороги – и хоть шкуру ты с него спускай!.. Ну, мечите жребий меж собой, кто будет сторожить. Я потом встану, проверю. Кто будет спать – башку скручу прямо сонному, так и знайте!

– Не беспокойтесь, хозяин, – сказал старый погонщик. – Отдыхайте с богом.

Ружьишко у нас... И бурлак вон какой – за семерых постарается в битве!

Что-то недовольно проворчав, Афанасий Данилович разложил перед собой дорожный складень, светящийся в потёмках сусальным золотом, которого купец, как видно, не пожалел на нимбы своим святым; вообще он стал на удивленье набожным, как это нередко бывает с людьми, немало погрешившими на своем веку; в далекой Персии, например, или в Средней Азии его с недавних пор интересовала синяя лазурь, приготовляемая из полудрагоценного лазурита и ценимая довольно высоко, но Афанасий Данилович для иконописцев привозил её в свои края и отдавал чуть не задаром.

Долго и усердно – кряхтя, сопя и охая от переедания – купец молился перед иконой Беловодской Богоматери и перед иконой первого сибирского святого Василия Мангазейского, покровителя охотников, рыбаков и торгового люда.

Тайга, поволновавшись под ветром, затихла. Острова закутались в туман, заглушая звуки перекатов. Нагретая за день земля дышала благовонием цветов, смолы, росы, как будто в храме сумрачной природы шёл молебен за благополучно прожитый денек. Над миром зажигались тихие свечи созвездий, предназначенные образу далёкого, вечного Творца, благословившего на жизнь и горы, и степи, и моря, и пылинку, и человека, и зверя... И только багрово мерцающий Марс выделялся в небе – дрожащей кровавою каплей, готовый сорваться и окропить караван... Да ещё белый месяц играл иногда в облаках среди гор. Прорезаясь неожиданно и ярко, месяц кривился ножом-ятаганом во мгле над обрывом и тут же прятался. Спросонок взирая на этот разбойничий блеск, жирный купчик вздыхал и постанывал, тяжело переворачивая брюхо с боку на бок. Снова душу, наверно, давило недобрым предчувствием или тревожным сном.

Места, где ночь настигла путников, с недавних пор стали дурно славиться между беловодских караванщиков.

Но тихая картина дальних величавых гор, стражами стоящих за рекою; животворный переплеск натянутой воды под берегом; спокойная пастьба выносливых монгольских лошадей; пчелиное гуденье ветерка в мохнатой кедровой ветке;

близкий жар костра, нагретшего траву и запашистую хвою, — полуночная эта пастораль сладко ублаживала.

5

Что там дальше-то? А что? Дай бог памяти.

Когда я на почте служил ямщиком, — теперь, сам видишь, пересел на грузовик — старики-почтовики рассказывали, будто разбойничал в этих местах каторжанин по кличке Ярыга. Жестокий, сильный, вёрткий был — эдакий волчара в человеческом облике. Толком, кажется, никто в глаза Ярыгу не видел, а разговоров — только о нём и слышно. И где тут правда, где побрехушка — трудно теперь докопаться.

В прежней жизни своей тот Ярыга мытарился будто бы на чужедальних галерах — потел в цепях, пожизненно прикованный к веслу. Перелопатил все моря и океаны вдоль и поперек. И заживо сгнил бы на каторге той, но умудрился как-то убежать с галеры.

На беловодской большой дороге Ярыга сколотил вокруг себя нескольких самых отпетых грабителей, их тут называли чаерезами — из-за чая резали; были такие охотники за кяхтинским чаем... Это сейчас нам подавай индийский со слонами. Или какой-нибудь «Да Хун Пао». Знаешь? Нет? «Большой красный халат». Самый дорогой на свете чай. Меня на перевале угощали в прошлом году. Я чуть не подавился, когда узнал, сколько стоит чашка этого «Большого крас-

ного халата». Ну, да ладно, я отвлёкся...

В общем, Ярыга со своим отродьем жили в тайге, в неведомых пещерах. Днём отсыпались, как звери, а по ночам выходили на караванные тропы. Ловко работали, быстро, появляясь в неожиданных местах и пропадая неуловимо, как ветер. Всю округу держали в страхе эти нахрапистые налётки.

Кабы на крапиву не мороз, так с нею и ладу бы не было. Вот так и с ними, чаерезами, «чайными резами», как говорил один старик, рассказавший мне эту историю.

Эти «чайные резы» чересчур допекли караванщиков и однажды зимою те устроили западню. Поймали разбойников, разнаготили на сорокаградусном колотуне, привязали к деревьям и, уезжая, облили водой из проруби: дармовой сладкой жизни хотели, ну так и пускай в «леденцы-конфетки превратятся». Конечно, кара зверская, но ведь и разбойники мало отличались от зверей. Не чаерезами надобно звать их – головорезами.

Околело крапивное семя тогда на морозе. Вся шайка – кроме главаря. Выносливый был; ведь не зря же именно он, а не кто-то с галеры сбежал. Привязанный к дереву, он зубами как-то дотянулся до веревки, перегрыз, волчара, острыми своими зубьями и ушел; других-то развязывать было уже ни к чему: остекленели.

С той поры охотился Ярыга в одиночку. И не просто шлялся на большой дороге – лишь бы кровушку попить из

караванщиков, кишки да кошельки распотрошить. Э, нет! Мечтал он, рассказывают, насобирать несметные богатства и подкатиться к нашей беловодской королеве под бочок. Дескать, спать – так на перине, а любить – так королеву. Что мелочиться?! Ну, любовь у Ярыги известная: волшебный ключ хотел добыть у королевы, распечатать клады неба и земли... Высоко замахнулся. Из грязи да в князи хотел угодить, волк проклятый. (Он и ходил-то и зимой и летом в серой волчьей шкуре, наброшенной на голое тело).

У волка удивительно хороший тонкий слух. Ярыга в этом смысле волчара был ещё тот – любому зверю мог дать фору. Находясь в горах, в потаенном логове, он за много-много вёрст мог уловить за перевалами тяжёлый топот коней, сладкозвучный голос колокольчика у верблюда под горлом, перебранку погонщиков и противную «икоту» ишаков. И ничего не стоило ему смекнуть, где нынче будет купец перекур с дремотою устраивать в полдень, где будет истомлённый караван голову клонить к ночлегу.

6

Крепкий сон легко сломил утомлённых путников. Яростный храп раздался на земле среди колёс, опустошенных бурдюков, под голову подложенных седел, сверкающих стременами, выюков, от которых веяло соблазнительным снадобьем... Высоко танцующее пламя, оставленное без пригля-

да, постепенно убавляя прыть, «приседало на корточки». Теряя бдительность, обмяк полночный сторож у прогорающего костра, подёрнутого сизо-угарной пеленой; сторож носом клевал, уютно пригревшись; изредка вздрагивал во сне и на минуту раскрывал дураковатые глаза, что-то бормотал, потряхивая одубевшей головою и свирепо царапая космы, где разыгралась вошь-сатана.

Сова прокричала, но как-то странно, потому что никакая не сова; если бы старый опытный погонщик в эти минуты бодрствовал, он бы сразу насторожился. А этот, молодой, и ухом не повёл, когда сова ещё раз прокричала.

Это был Ярыга. Он всё-таки нашёл себе напарника и вот теперь подал кому-то знак – фальшивым голосом ночной совы. И осторожненько начал спускаться. Будто пешком по небу шёл – по краю пропасти, держа в руке огромный ятаган, казавшийся полумесяцем и рассыпавший среди камней и кедров холодные лунные блики. Лезвие того ножа светилось серебром, потому что отковано было, рассказывают, из волшебного какого-то топорика.

Монгольская пёстрая лошадь, отличавшаяся небольшим размером, ослеплённая железным всполохом, попятилась и фыркнула с испугу в тишине. Ятаган ярко метнулся ей навстречу – и погас в лошадиной крови. Монголка рухнула и лихорадочно засучила задними копытами, едва не ударяя по телеге – это могло бы наделать шуму. Ярыга присел и мгновенно «стреножил» монголку – ятаганом перерезал сухожи-

лия.

Мягкою, как будто порхающей походкой он двинулся дальше, переступая через оглобли, через погонщиков, – приближался к жирному купцу. Ятаган теперь светил багрово, смутно озарял жуткое разбойное лицо Ярыги – точно в крови измазанное. А потом...

А потом с перевала в сырые, дымящие росами доли скачивалось утреннее солнце, и по стрежню беловодской трепетной реки закипали не «алые струи зари», как любят приукрасить лирики, сидя в своих душных кабинетах и сочиняя сказочки о нашей стороне, – горячая дымная кровушка пёрла из перерезанной глотки разграбленного каравана.

И не отражённый бледный месяц виднелся на поверхности проснувшейся воды – это всплывал из глубины закинутый разбойный ятаган (неспроста говорят: концы в воду). Это русалки наши вертели остриё и норовили выбросить на берег, чтобы дети-русальчата не порезались, выходя на утренний простор и целый день беспечно бегая по жёлто-золотистым песчаным доньям, играя в тиховодах и водоворотях.

7

Ну, что, любезный друг мой? Дальше рассказывать? Или перекур на полчаса устроим, помолчим? Я вообще-то молчун по натуре. Да и работа – не разговоришься. Не с кем.

Я попутчиков редко беру. А когда я на почте служил ямщиком – там вообще без попутчиков. Нам запрещали. Едешь, бывало, сутками один, как сын. Куришь да молчишь. Молчишь да куришь. Домой приезжаешь – зелёный от курева, как... я не знаю – капустаный кочан. В дороге то да сё припоминается. Думаешь, думаешь, потом глядь-поглядь – побаска получилась. Иногда спохватишься: вот записать бы! Но потом рукой махнёшь и дальше едешь: много подобных писак. Мастера! Гоголем ходят, не птицей, а Николаем Василичем... А коснись до дела – никто из них не знает, где поставить золотую точку. Таких-то мастеров у нас полно. Я не совру, коль скажу, что вот здесь, на нашей беловодской легендарной стороне, что ни ямщик бородатый тебе, что тебе ни крестьянин за плугом – то Лев Николаич Толстой! Не в том смысле, что графья по крови, а в том, что, если бы каждому вручить кусок бумаги, перо и попросить пересказать свою судьбину, такая бы редчайшая сказочка сложилась – ай да ну!

Только никто за писанину не возьмется. Баловством это дело считают, лукавством. Да и то, пожалуй, верно, если вдуматься. Я вот сколько на своём веку переслушал беловодских ямщиков – не сосчитать. И вот что характерно: в разговорах наших скачет слово русское, звенит и распаляется, как тройка взмыленных коней в степных просторах – коренник напропалую лезет грудью, стремится вон из хомута и вон из кожи выпрыгнуть, и пристяжные с норовом попались – так и

норовят улизнуть на сторону, взлететь под облака; фыркают, кобелятся от переизбытка своей силушки, и вожжи вырывают у ямщика-рассказчика из рук. А колокольчик-то, бра-тишка, чистым золотом поёт! соловьём залётным заливае-ся! И день, и ночь бы ехал на этой дивной тройке! И день, и ночь бы слушал эту музыку!..

Это – на словах. А на бумаге? Что получается? Стрено-жат слово русское, аркан ему на шею накинута, и стоит лихая тройка – не мычит, не телится. Вот почему я писанину не люблю: не умеют люди по бумаге с ветерком да с размахом проехаться. Только ползут: еле-еле душа в теле, будто бы это у них и не праздник, будто везут покойника в гробу... Нет, не люблю. Увидел бы живьём хоть одного писаку – так бы, кажется, и выдрал ему руки. Не умеешь, пень кудрявый, не берись и не марай бумагу «струями алой зари». Эдак-то у нас любая курица может замарать. Ты её в чернильницу но-гами окуни, заставь побегать по бумаге, потоптаться, попля-сать, – и получится примерно такая же дебилетристика, ка-кая у наших дебильных посконных беллетристов получае-ся. Одна только разница будет, пожалуй: курица, та ни ко-пейки не заработает, а шелкопер какой-нибудь, конечно, за-гребёт лопатой... Нет, нет! Я книжки не признаю! Газеты – дело другого рода. Из газеты у меня сызмальства мировые самокрутки получались.

Давай-ка всё же остановимся, перекурим, а заодно я по-кажу тебе наши молочные реки. Что улыбаешься? Я вполне

серьёзно говорю. Беловодье – в самом натуральном смысле. Можно даже кружкой зачерпнуть. Молоко, правда, немножечко разбавлено водой, но вы к такому в городе привыкли. По вкусу придётся, я думаю.

Пошли. Да осторожнее спускайся. Тут камни скользкие...

Ну что? Видишь белые струи? А-а! То-то! Разинул рот – шире ворот. А ведь не верил, да? Беловодье! Вот оно! Эхэ-хэ... И охо-хо...

И не хотелось бы тебя разочаровывать, да придётся.

Дело в том, что вверху по течению Летунь-реки недавно построили молокозавод на берегу. А знаешь ты, к примеру, такую присказку: крепко Ванька печку сложил, только дым не идет?! Это к тому, что маломощный,дохленький молокозаводик сложили – не продумали своею бестолковкой. Не справляется наш бедный заводик. Молока до хрена. Даже больше. Молоко машинами привозят на переработку: очереди с утра до вечера тянутся по тракту – аж во-о-он до той горы!.. А молоко, оно ведь испокон веков было капризное. Прокисает на жаре, пока машины толпятся в очереди. А ежели прокиснет, тогда цистерну черта с два отмоешь. Надо вовнутрь залезать, обрабатывать хлоркой и всякой другою холерой. Волокита, в общем. Канитель. А кому это надо? Вылить весь удой с обрыва – дешевле обойдется, говорят экономисты. Ну, вот и выливают шоферюги, не моргнувши глазом. И текут у нас реки молочные да прям-таки в кисельных берегах. Красота. Беловодье. Мы ведь мечтали сказку сде-

лать пылью? Вот и сделали, да ещё и цирк из этого устроили. Видишь, белая беседка на противоположном берегу? Тут скоро подъедет шикарный «Интурист» и советский наш экскурсовод будет показывать иностранцам сказочное Беловодье. Буржуи балдеют! Шалее! Кружками, руками, шапками спешат схватить волшебную водицу. В бутылки, фляжки наливают – и за границу везут. А с неё, с этой воды, кроме, пардон, поноса, – никакого толку. Молоко с водою, что ж ты хочешь? Пронесёт кого угодно, будь ты хоть француз, хоть марсианин...

А теперь смотри левее молокозаводика. Скалу прямую видишь? Как топором отрублена. Там будут ставить плотину. Посёлок гидростроителей уже готов – под крышу подвели. Как, думаешь, его назвали? И не угадаешь, не напрягайся. «Благие Намеренья», да, ни много, ни мало. Взрывники уже начинают работать на створе. Гору динамитом раздербанивают. А гора-то, между прочим, не простая – беловодский мрамор. Тот самый, который блестит и в Кремле повсюду, и в Питере – в царских палатах. А нынешним головотяпам – громко начихать на это. А я вот – веришь, нет? – слышать не мог эти взрывы. И машины эти видеть не могу – «Татры» да «Колхиды», которые камень вывозят. Вся душа во мне трясется, как осиновый листок. Скоро, скоро завалят, задушат камнями нашу вековую, нашу быстротечную Матушку-Летунь. Ярыгино племя живёт. И не просто живёт – побеждает. Почему я так говорю? Сейчас всё по порядку рас-

толкую. Сядем, дальше поедем – и расскажу, коль тебе интересно. Мне-то что? Язык, он без костей, а дорога, сам видишь, без конца и без края.

8

Волшебный ключ, лежащий на дне реки, не давал покоя разбойному Ярыге. Что делать? Как достать? Думал, думал, чуть мозги не вывихнул. А когда придумал – проще некуда. Реку надо придушить: и ключик, и замочек – всё найдешь на дне... Может быть, не сам Ярыга скумекал это дело? Может, нашептали черти, а он услышал тонким волчьим слухом? Так или иначе, а мыслишка втемяшилась в голову.

И вот он стал запруду делать для начала – обсушить Летушь в низовьях, жар-цветочек поискать, а заодно и жемчуга русалочки прибрать к рукам: что, дескать, понапрасну жемчуг «ржавеет» в воде. Жемчугу необходимо тело, иначе потускнеет, пропадет без тепла человеческого.

И везет же дуракам, скажи на милость.

Только задумал Ярыга чёрное дело обтяпать – и на тебе! Природа, или кто уж там, не знаю – угадали его намеренья. И высылают ему, дармоеду, самую шикарную русалку из подводного царства. Была у нас одна такая штучка – заглядишься. Не наша, не русская. Издалека.

Много лет назад на Беловодье персиянку полонённую везли из Персии. Богатому купчине её продали за сумасшедшие

деньги. Сколько персияночка та весила – пудика два с половиной, однако! – столько и золота, говорят, пришлось тому купчине отвалить за неё: так полюбилась краса первозданная; так запала в душу.

Где на колёсах, где на ишаке, но больше всего на руках эту мамзель-персияночку телохранители несли по перевалам. Ветру дунуть не давали, комара от неё отгоняли – берегли, потому как самодур-купчина, ждущий её в городе, готовящийся к свадьбе, побожился головы, как подсолнухи, поскручивать у мужиков, если что-нибудь случится с его драгоценною душечкой.

А дорога – жаркая, дальняя, высокая. Почти пешком по небу нужно топать, беречься разбойных людишек, опасаться зверья, камнепадов, звездопадов. Нужно облака и тучи расталкивать на своём пути, как давно не стриженных и давно не пуганых белоснежных боговых баранов. А это дело не такое уж простое, как может показаться на первый взгляд. Облака расталкивать – это ещё ничего. А если ты наткнёшься на грозовую тучу и потревожишь её – оттуда Змей Горыныч как выскочит, как выпрыгнет, так и полетят клочки по закоулочкам. Змей Горыныч – это гром да молния, которые до поры, до времени спокойно дремлют где-то в недрах тучи.

Ну, в общем, утомились мужики-телохранители. Уханылись, пока пришли в долину Четырёх Ветров. Развернули там последний свой бивак и заснули, что называется, без задних ног. Им бы ещё маленько продержаться на этих самых

«задних ногах», и всё было бы прекрасно – из неё, из той долины, беловодский городок уже видать, как на ладошке. Крепостные краснокирпичные стены; беловодский кремль торчит в золотых папах; золотые кругляши церквей монетами рассыпаны по зелёным буграм и полянам. В сумерках – а дело ввечеру случилось – жар-птицы над просторами летали, озаряя воздух и рождая наши знаменитые беловодские ночи, при свете которых любили девки, сидя у окна и поджидая мил-друга, рукоделья свои расшивать.

Заснули, значит, телохранители. А персиянка, покуда были в стороне от Беловодья, она под своим балдахинном целыми днями точила слезу, а ночью спала – никому не докучала. Но в долине Четырех Ветров, освещённой жар-птицами, беспокойство овладело девушкой: белые ночи всегда с непривычки возбуждают людей.

Полонённая персиянка встала тихохонько, покинула шелковый шатер и пошла, куда глаза глядели.

Телохранители хватились под утро. Искать побежали. А где искать? Земля большая, круглая, с неё скатиться можно хоть куда – на все тридцать четыре стороны.

Пастуха увидели – поблизости катался на савраске кругом стада, играл коровам на свирели такие расчудесные рулады, которых мы, увы, играть не можем, и потому живём без молока, а скоро, может быть, и без коров останемся. Но не об этом нынче разговор.

До полусмерти перепуганные телохранители подбежали к

пастуху. Петюню Чистоплюйцева узнали: грамотный чудака никакой работой не гнушался; летом иногда, чтобы прокормиться, шёл в пастухи.

– Петюня, – слёзно просят, – подскажи: не проходил здесь кто-либо?

– Кто проходил, того искать не надо, – остановил их чудака-всезнайка. – Я так своим скудным умишком сужу: она уже в русалку обернулась, ваша драгоценная пропажа.

– В какую русалку, болван? Что ты мелешь? К реке она пошла?

– Я об том и толкую, господа мужики. Ваша пропажа на глубоком дне сейчас. И ей там хорошо.

«Господа мужики» впопыхах подбежали к обрыву – чуть сами не рухнули в реку... Ах ты, горе горькое! Так оно и есть! Утопилась мамзель-персияночка!.. На берегу, на камне от неё остался лишь один только персидский башмачок, миниатюрный такой, изумительно расшитый мелким бесом... то бишь, мелким бисером, хотел сказать я, жемчугом и разноцветным бисером. Заглянули в воду – чисто, и не видно никого. А неподалеку – тёмный омут. Ухо приложили к берегу и слушают. И зеленеют со страху. Прав оказался пастух-дурачок. Под волной русалки похохатывают и голос персияночки среди них весело и молодо звенит.

– Всё! – закручинился старший. – Теперь мы телохоронители, а не телохранители! Проспали, в глотку нам башмак! Что теперь делать? В город идти – всё равно что на плаху!

И опять они бросились к пастуху. Повалились в копыта его лошаденки, плачут и землю вот-вот будут грызть:

– Петюня! Родной! – говорят со слезой; то болван был, а тут стал роднёю. – Петюньчик! Подсоби! У тебя не голова, а кусок золота! Скажи, как нам быть? Нам, быть может, яблоко с Древа Жизни сорвать для неё? Или как тут лучше поступить? Петюньчик, ты ведь знаешь всё на свете!

– И Господь Бог всего не знает, – смиренно отвечивал пастух, закрывая какую-то книгу и пряча за пазуху. – Сказочное яблоко тут не поможет. Я так своим скудным умишком сужу: берите персиянкин башмачок и ступайте к хозяину, господа мужики.

– Убьёт! – Телохранители замахали руками. – Ты что нам советуешь?!

– Повинную голову меч не сечёт, – успокоил Чистоплюйцев. – Горе будет не вам, а купцу. Я всё сказал, господа мужики. Ступайте, не топчите траву понапрасну.

Делать нечего. Пришли с повинной эти несчастные «телохоронители». А во дворе и в доме тороватого купца – он ведь ждёт персиянку! – трубадуры хмельные сидят и наяривают залихватскую музыку, бубны бубнят, скоморохи у крыльца на головах стоят, ушами пыль сметают со ступенек и поют:

Полюбил я эти губки, эти перси я,
Полюбилась мне таперича вся Персия!
Ах, цветок ты мой, цветок – тычинки, пестики!
И детишки-то мои все будут – персики!

А на столах – заморское вино, закуски, хрустали и всё такое прочее, что «господа мужики» даже в самом сладком сне и то не видели. Дурнехонько им стало. Скопытились они возле ворот, на четвереньках поползли к хозяину: казни, мол, нас, поганных телохоронителей, недоглядели за твоей мамзелью.

Ой, что началось тогда... Купец какой-то синий стал, как баклажан на праздничном столе. Да и понятно: посинеешь, братец. Эта персияночка и готовящийся пир горой в хорошую копеечку влетели тороватому сумасброду: едва ль не половину беловодской ярмарки скупил.

– Разорили... – плачет и вопит. – Разорили! Всех на псарню! Кобелям стравлю! Живьём!

А «господа мужики» валяются в купеческих ногах и пылью посыпают свои головы:

– Казни, родимец! Тока нас, поганных телохоронителей, и кобели-то не станут жрать – побрезгуют!

Купец покричал, покричал – выпустил весь пар в гудок – и приказал поганым убраться с глаз долой.

– Но пощады вам не будет, не надейтесь! – пригрозил. – Я вам придумаю расправу пострашнее смерти!

Однако не успел он ни придумать, ни осуществить угрозу. Вкрутую загулял бедняга с горя, зарыдал над махонькой персидскою туфлей, расшитой «мелким бесом». Лил в неё заморское душистое вино и со слезою пополам глушил с утра

до ночи. Кончилось вино в подвалах – водку подавайте в башмаке!.. А когда башмак размок и развалился – купец водку начал хлестать из своего сапога. Хлестал, хлестал родимую, пил беленькую, пил, покуда не свихнулся – белою горячкой заболел. Вот что значит оказаться под башмаком у бабы, это завсегда чревато, будь она хоть персиянка, хоть марсиянка...

Да, так это я к чему припомнил? А вот к чему. Таким, значит, манером на нашей беловодской стороне оказалась чужеземная русалка – необыкновенной красоты. Нам-то жаловаться грех, наши русалки тоже, брат, не промах – глаз не оторвешь ни от одной. Но персияночка та была вообще... Ай да ну! Ни в сказке сказать, ни пером описать – потому как нужных слов не сыщешь.

9

И в ту минуту, когда Ярыга по совету нечистой силы вознамерился Летунь-реку сушить, чтобы нагребастать скатных жемчугов, – вдруг выходит из воды к нему русалка. Натуральная такая. Только без хвоста. Отряхнулась мигом от своей одежды – от серебряной чешуи, на солнышке обсохла и стоит в чём мама родила, аж зубы ломит у разбойничка Ярыги.

Он, конечно, к ней – зацапать вознамерился. Она – бегом по берегу. Но как-то очень весело, легко бежит, словно не

спасается, а только дразнит. То за камень спрячется, то за безрезкой ненадолго скроется. Стоит, поджидает Ярыгу... Примерно так же птица от гнезда беду отводит: то прикинется подбитой, крыло по земле волочёт, то вовсе не умеющей летать.

Увела она, в конце концов, Ярыгу от реки, забыть заставила, зачем он туда шёл. Но птичка-невеличка отвлечёт, отманит недруга от своего гнезда и сразу же «научится» летать. Радостно и просто на крыло поднимется – и поминай, как звали. А у дивчины крыльев нету и река осталась далеко – не уплывешь. Ярыга изловчился, догнал её в горах, и пришлось ей поневоле согласиться замуж за него идти, лишь бы только не губил он эти белые живые струи – глубокий тот подводный мир, какой она успела узнать и полюбить.

А Ярыга тот сам себе на уме: «Жена да убоится мужа своего! Женюсь – прикажу ей достать ключ со дна! Это будет приданое мне от русалки!»

Свадьба у них громкая случилась в те далёкие поры. Нечисть по горам и долам разгулялась в полночь, расплясалась крепкими копытами – все кресты на маковках перекосилились в деревнях и в беловодском городке. Даже иконы лопались – доски трещали то повдоль, то поперёк. И посуда стеклянная дребезжала и трескалась на столах. И пламя гасло в керосинках. И дети ревели с перепугу с какого-то. И собаки выли, как на покойника. И даже змея покидала своё гнездо, как бывает накануне землетрясения.

Испугался народец тогда не на шутку. Стал манатки вы-
волакивать из домов; колыбельки с грудными ребятишками
давай пристраивать в садах под яблонями; коров с лошадьми
выгонять на поляны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.